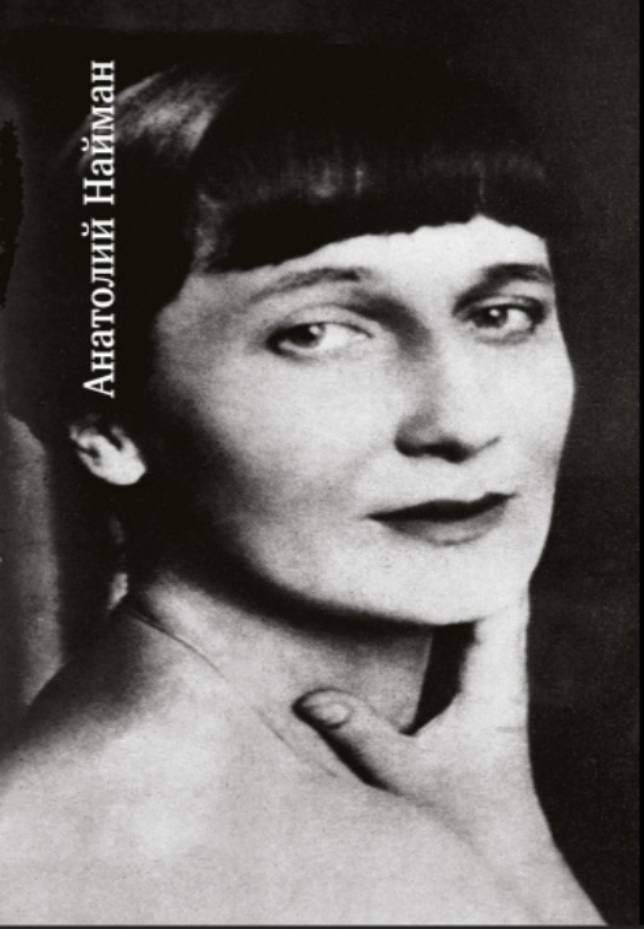


Анатолий Найман

Аксенов
Ахмадулина
Битов
Бобышев
Волков
Горбовский
Городницкий
Дмитриев
Жуков
Ким
Крючков
Кублановский
Некрасов
Попов
Рецептер
Смехов
Хомич
Шварц
Юрский

Анна Ахматова

Когда мы вздумали родиться

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга о попытке случайно соединившихся людей, для которых культура была в той или другой степени необходимой координатой жизни, выразить ей, культуре, за это благодарность. Или по-другому – о попытке читателей стихов передать свою признательность поэту за испытанные от чтения чувства, за пережитый душою подъем. О том, насколько удачно, полно или, напротив, нескладно, схематично это осуществилось.

- Анатолий Найман
  - Предисловие
  - 2006
  - 2007
  - 2008
  - 2009
  - 2011
  - 2012
  - 2013
  - 2014
  - 2015
  - Послесловие
  - Иллюстрации

Анатолий Найман
Когда мы вздумали родиться

Предисловие

Эта книга о попытке случайно соединившихся людей, для которых культура была в той или другой степени необходимой координатой жизни, выразить ей, культуре, за это благодарность. Или по-другому – о попытке читателей стихов передать свою признательность поэту за испытанные от чтения чувства, за пережитый душою подъем. О том, насколько удачно, полно или, напротив, нескладно, схематично это осуществилось. У меня был друг, прекрасный скрипач, он иногда звонил после концерта, я спрашивал: ну, как играли? Он отвечал: как умели, так играли. Вот об этом эта книга.

Ее название – неполная строчка из Первой элегии, открывающей цикл ахматовских «Северных элегий». В цикле шесть (седьмое стоит особняком) стихотворений. Их можно назвать историческими фрагментами большой истории – с той оговоркой, что в них биография человека, конкретно лирической героини, почти неотличимой от автора, не жертва катаклизмов социума и природы, но напротив, олицетворяет противостояние, пусть на вид и смиренное, их силам. Пружиной событий и ведущей темой стихов выглядит она, биография, большая история превращается ею в сопутствующий антураж. «Северными» они названы не только традиционно, как, скажем, у поэтов, по-пушкински сознававших Россию северной страной, но и относительно знаменитых историй «полуденных»: эллинских и римских, античных. Элегическая повествовательная манера Ахматовой стилистически их напоминает. К ним примыкает несколько стихотворений, в частности написанный ближе к концу жизни сонет, имеющий прямое отношение к предмету этой книги.

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток,
Юг мне воздух очень скупо мерял,
Усмехаясь из-за бойких строк.
Но стоял как на коленях клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме…
Вот когда железная Суоми
Молвила: «Ты все узнаешь, кроме

Радости. А ничего, живи!»

Суоми – финское название Финляндии, включая ту ее часть, которая после войны 1939 года отошла к СССР. Что поселок Комарово (прежнее название Келомякки), куда Ахматова с конца 1950-х выезжала на лето, расположен на этой земле, она никогда не забывала.

Подзаголовок Первой Северной элегии – «Предыстория»: картина Петербурга и, шире, России 1880-х годов, сквозь которые проглядывает десятилетие 1870-х. Заключительное четверостишие стихотворения – «Так вот когда мы вздумали родиться / И, безошибочно отмерив время, / Чтоб ничего не пропустить из зрелищ / Невиданных, простились с небытьем». Ахматова родилась в 1889-м, упомянутые ею зрелища – Русско-японской войны, Первой мировой, Русской революции, войны Гражданской, десятилетий большевистского террора, ГУЛага, Второй мировой. Поистине невиданные. В этой исторической перспективе она и опознавала, осознавала себя. Участницей; жертвой; уцелевшей чудом избранницей; победительницей. Той, на которую «Запад клеветал», не вымышленный, газетно-пропагандистский, а эмигрантский, толком не знавший, что с ней происходит, которому она не могла ответить. Частным лицом. Исторической фигурой.

Но независимо от масштаба судьбы и калибра личности, все родившиеся на свет причастны быту и по-домашнему отмечаются в нем. Как, к примеру, растущие дети карандашной чертой на дверной притолоке. Или справляя раз в год именины, отмечая день рождения. При жизни Ахматовой я был гостем, наверно, на четырех днях ее рождения. Есть показания, что на пяти, но убедительных доказательств присутствия на пятом привести не могу. Смутно мерещится, что в первый раз позвонил с поздравлением в самый день и она пригласила в ответ, но после этого приглашала загодя.

Об этом, как и многом другом, касающемся и характеризующем ее, написано в моей книге «Рассказы о Анне Ахматовой». Она была издана в конце 1980-х, с тех пор много раз переиздавалась. Когда я сажусь за какую-нибудь новую статью или эссе об Ахматовой, бывает, что та или другая фраза из «Рассказов» представляется мне достаточно толковой, чтобы перенести ее в новый текст как есть, не смущаясь тем, что она уже напечатана. Несколько таких коротеньких обрывков, вспомненных по теме и показавшихся мне удачными, я включил и в эту книгу.

День рождения растягивался на 23 и 24 июня. Она родилась

11-го по старому стилю, но в веке прошедшем, девятнадцатом, так что можно было прибавлять 12 дней, однако поскольку уже праздновала этот день и в новом, то допускалось автоматически и 13. К тому же числа старого стиля имели склонность устраивать и охотно устраивали путаницу с числами нового. 23-е по старому, праздник Владимирской иконы Божией Матери, установленный в память избавления Руси от нашествия ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, также отбрасывал свет на ее день рождения. Она находила повод в какую-то минуту застолья мимоходом напомнить об этом.

Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим ее образу и имени добавочную красочность, не лишнюю, но ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих заявлений и намеков благодушно-иронической литературностью, что ею как бы вследствие самой даты рождения была усвоена магия, приписываемая этой ночи. То есть вся совокупность языческих верований и обрядов, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью – кладов, прыганье через костры, скатывание с горы зажженного колеса, купание и т. д., – так же как и весь связанный с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, круг мифов, завершающийся шекспировским «Сном в летнюю ночь».

В стихах ее этот день упоминается не как праздник чудотворной иконы, или мученицы Агриппины, а как день Аграфены-купальщицы, канун Ивановой ночи. Притом опять-таки рядом с упоминанием о чтимом церковью пророке Давиде. Это усвоение, как стало принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, сближаемое с церковным вероучением, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось проникновением или намерением проникнуть в области действий тех таинственных сил, проявление которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь». Эти полторы строчки из Второй элегии не поэтическая фигура – воспоминание ее близкой приятельницы В.С. Срезневской о «лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!»)» не единственно. Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, «подружилась с морем»,

«плавала, как щука», по оценке брата-моряка. И еще, ссылаясь на поэму «У самого моря» – «знали соседи – я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место». Отсюда в ее стихах – русалка, морская царевна и, наконец, китежанка. Из лунатизма – сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой.

Разумеется, не следует думать, что в реальность или атмосферу празднуемых ее дней рождения проникали подобные сведения и соображения. Если они приходили в голову, то *до* или *после*. Но во время беседы, предшествующей усаживанию за стол и самому застолью, как правило, малолюдному, непышному, негромкому, они подспудно усиливали впечатление необычности, даже некоей нездешности того существа, той старой женщины, той дамы, в сторону которой тянулась твоя рюмка с напитком и твой язык выговаривал: «За вас, Анна Андреевна».

С кем вместе я оказывался в том или другом году, сейчас помню определенно только два этих дня. В 1964-м с писателями Меттером и Кроном (если, гм-гм, не Штоком – вот тебе и *определенно*!) с женами, в Ленинграде, в квартире на Ленина. И в 1962-м – мы с Бродским приехали в Комарово, никого, кроме нас, не было. Ахматова записала в дневнике (прочел после смерти в опубликованном томе «Записных книжек»): «День рождения. Устала. Был Кома <В. В. Иванов> и <В. М.> Жирм<унский>. Вечером мальчики. Стихи Бродского – не альбомные». Мы опаздывали, приехали только к концу дня. Весь путь в электричке Иосиф писал стихотворение «А. А. А.» («Закричат и захлопочут петухи»). Я вез букет цветов, мог не беспокоиться. Строчку из стихотворения Иосифа, которую Ахматова выбрала на эпиграф к своей «Последней розе» – «Вы напишете о нас наискосок», – я всегда воспринимал, что напишете и «наспех» тоже. Строчки из его «Исаака и Авраама» о звуке ААА мы все тогда читали как имеющие в виду Ахматову. Две из них она переписала в дневник, чуть тронув и назвав их «Имя»: «По существу же, – это страшный крик, / младенческий, прискорбный и смертельный».

Признаться, в то время – а сейчас подавно – я предпочитал этим выписанным ею другие, оттуда же: «Но если сдвоить, строить – ААА, / собрать бы воедино эти звуки, / которые нельзя сложить в слова…». Уже и в те дни, помимо слов и всего, что можно было выразить словами, было некое общее звучание. Рассыпавшееся на звуки, чистые, пленительные. Сами по себе. В них была подлинность, высшая любых мыслей о ней. Мы жили своей жизнью, но частью ее была Ахматова, и эти звуки сделали для нас те несколько лет, рискну сказать, чудесными – в самом непосредственном, как и в расхожем смысле этого слова. «Были…

мальчики». Сейчас читается – как в «Живаго» «мальчики стреляют». «Вечером…» Но в середине лета, так что было еще светло.

Утром 5 марта 1966 года Ахматова умерла. В санатории, в Домодедове. 9-го ее тело было перенесено самолетом в Ленинград. 10-го похоронено в Комарове. И пошли годы. А точнее, века, как приговаривал после чьей-нибудь смерти один из самых близких мне людей. После кончины день памяти об умершем начинает энергично и заметно смещаться от даты рождения к дате смерти и вскоре переносится на нее. День рождения растворяется между воспоминаний об исчезнувшей жизни и теряется в них. Но образ ушедшего еще довольно отчетлив в сознании знавших его, смешивается с поглощающим его временем, влияет на старание времени разместить его в новом – посмертном – пейзаже. Пространстве. Координатах. Схоже с той минутой, когда я вошел в одиночную палату, где АА лежала на постели, укрытая простыней с головой. За несколько секунд до этого, не зная о случившемся, я открыл дверь санатория – накануне мы с ней условились закончить правку черновой рукописи, – и ожидавшая меня в вестибюле врач стала объяснять что-то, что я понимал как слова, но не мог соединить их с реальностью. Я сдвинул простыню с лица, поцеловал лоб, он был еще теплый, она умерла меньше часа назад. Это тепло, уже слабое, одновременно и поставило психику на место (дав неоспариваемый сигнал: она мертва), и окутало мозг ощущением неокончательности происшедшего.

Так, в исподволь стирающихся следах ее недавнего присутствия и все более наглядных доказательствах невозвратимости, прошли несколько первых лет. Ежегодно 5 марта в какой-нибудь, а до меня доходило, что и не в одной, церкви служилась по ней панихида. По прошествии нескольких лет ее имя, произносимое на этих службах, стало открывать коротенький список: к приснопоминаемой Анне присоединился Николай (Гумилев), потом Николай другой (Пунин, ее последний муж), потом Лев (Гумилев, сын). Так она этот день освоила, в нем обосновалась.

Однажды осенью 2005–го в Комарово приехал Александр Жуков. Геофизик, ученый с именем, глава аналитической компании, занимающейся определением состава предполагаемых месторождений полезных ископаемых. Сочинявший, как нередко свойственно людям этой профессии, которые проводят изрядное время наедине с природой, песни бардовского направления. В Комарове он хотел положить цветы на могилу Ахматовой и

взглянуть на предоставлявшуюся Литфондом в аренду дачку, в которой она в последние годы проводила по несколько месяцев. Как правило, въезжала в конце весны и возвращалась в город в начале осени. Называла этот небольшой стандартный деревянный финский домик Будкой и говорила, что безымянный архитектор проявил немалую изобретательность, разместив на какой-никакой площади *одну* жилую комнату, все остальные квадратные метры отдав коридорам, неожиданным переходам, верандам, крылечкам.

Александр Жуков с бригадой плотников возле Будки

Подойдя к этому убогому строительному изыску, который к тому времени, кстати сказать, как-то сумели поделить аж две писательские пары, Жуков увидел, что Будка нуждается в немедленном ремонте. Фундамент просел, стены подгнили и покосились, нижние ступени ушли в землю. Он мгновенно сориентировался, нашел бригаду плотников, за приличные деньги нанял.

Мы с ним были незнакомы, но в конце лета он разыскал мой телефон и спросил, не соглашусь ли я съездить на место – посмотреть, насколько оно соответствует тому, что было при жизни Ахматовой (главным образом – обоям, которых при ремонте вылезло по углам несколько слоев.) Оно соответствовало настолько, что если бы поставить в ту самую единственную

комнату у окна ломберный столик XIX века, если не тот самый, за которым она писала и читала, то похожий; с фарфоровой чернильницей пушкинского времени; к нему дешевое старое (не старинное) кресло того сорта, который в быту называется «дачный»; невзрачный шкаф для одежды; топчан на трех деревянных ножках и одной набранной из кирпичей; у его изголовья полуказенную тумбочку; на нее ламповый приемничек «Рекорд»; повесить на стену книжную полку из двух нестроганых досок; на другую очаровательного петуха, нарисованного Борисом Ардовым; в правый угол икону Казанской Божьей матери – что заняло бы максимум полдня, – то, затопив для вящей достоверности печку, можно было бы открывать ахматовский музей высшей степени аутентичности.

Писатель Валерий Попов, один из жильцов Будки в новое время, и Александр Жуков в только что отремонтированной комнате Ахматовой

Отдельно о печке. Одна из двух прикровенно (и мельком) упомянутых в предыдущем абзаце писательских жен, обитавших в доме, в разгар ремонта попросила бригадира эту печку разобрать. Он ответил: «Мадам, я делаю ремонт Анне Андреевне Ахматовой, а не вам». Тон того и другой был доброжелательный, не говоря

уже, образцово-вежливый. Я свой замысел сделать в Будке напрашивающийся комаровский дом-музей тогда же в присутствии Жукова убедительно, как мне казалось, донес до жильцов. Прибавил, что им вместо этой тесноты бесспорно предложат где-то поблизости лучшие условия проживания. Жильцы тему не подхватили, одна пара каменно промолчала, глава другой объяснил мне, дураку, что на данный момент они *уже* живут в Комарове, а что действительно тесно, то зато в помещении, известном на весь мир.

2006

В июне 2006-го мы приехали в Комарово в день ее рождения в первый раз. Василий Аксенов – мы с ним были к этому времени знакомы около 50 лет, близко дружили, Жуков попросил меня пригласить его, он приглашение принял с удовольствием. Юрий Кублановский, поэт. Павел Крючков, с младых ногтей занимавшийся звуко-записью – практически и ее историей. Александр Жуков и Игорь Хомич, виртуозный гитарист и замечательный музыкант, они привезли с собой кое-какую концертную аппаратуру. Жена Жукова, Вера Григорьевна, художница, бывший геолог. Слушателей пришло около полусотни. И, как ему и полагается, сразу начался дождь. От моросящего до убедительного, с темным небом, временами с молнией и громом.

Если бы моей задачей был не рассказ о днях рождения Ахматовой, как они проходили в этот и следующие девять лет, я бы описал это собрание, как наши, присутствующих, ухищрения противостоять стихиям и их безусловное торжество. Кто-то поднимался вместе с очередным выступавшим на дощатую эстрадку и, раскрыв зонт, держал его над ним и, насколько зонта оставалось, над собой. Кто-то, вроде меня, клялся, что ему эти падающие струи, не говоря уже капли, тьфу. Регулярно делались слабо юмористические попытки объяснить происходящее тем, что чествуемой бывшей хозяйке этого места наше чествование не по вкусу. Протокол события выглядел примерно так.

– Сегодня день рождения Ахматовой, сорок лет как ее нет…

– А как же дождь? (*Смех.*)

– Во-первых, дождь сейчас пройдет. Во-вторых, меня он совершенно не смущает… Сорок лет порядочный срок, особенно когда посередине его происходит исторический слом…

– А давайте мы вам зонтик дадим?

– Нормально, я хорошо себя чувствую… Всякое общение с ней выдразнивало из собеседника лучшее, на что он был способен, держало в повышенной творческой и интеллектуальной готовности. Так называемые «великие» присутствовали в ее обиходе не как имена культуры, а как почти личные знакомцы. Как у Пастернака: «Пока я с Байроном курил, / Пока я пил с Эдгаром По». На этих высотах такие связи и такой стиль отношений не выдуманы. Ощущение присутствия в компании вне времени и места, общее для таких избранников, органично для больших поэтов. «С Гомером долго ты беседовал один», – обращается Пушкин к Гнедичу, делая этим обращением и Гомера

современником. Собеседником, значит, современником. Если Фауст, Дон Жуан, леди Макбет – не персонажи книг, а участники современной московской, ленинградской, ташкентской жизни, то тем более Гете, Моцарт, Шекспир, которые вывели их на публику.

– Снова хлынул. Ну что, придется еще с вами постоять.

– Ее предшественники были символисты. Поэты на пьедестале – над публикой, глядящей снизу вверх. Статуи всегда и реально крупнее человеческого масштаба, и выглядят так. Поэты ахматовского поколения были частью публики, но публика, пораженная их инаковостью, наблюдала проступающую за этой инаковостью грандиозность.

– Да это пройдет, это грибной дождь. А папка у меня непромокаемая…

– Искусству необходима фигура, превосходящая общепринятые размеры. Она показывает неограниченность его, искусства, возможностей, выход за рамки. Фигура не местного значения, принятая большим или меньшим кругом поклонников, а общенациональная. В России так было со времен…

И т. д.

Мне надлежало произнести вступительное слово. Я начал с того, что казалось мне самым существенным: с неофициального характера нашего визита сюда, нашей встречи, того, что мы будем говорить, делать в знак признательности к отсутствующей хозяйке места. Как если бы мы воспользовались тем, что ее сейчас здесь нет и чувствуем себя между этих сосен свободно, но в то же время постоянно помним, что она может каждую минуту дать о себе знать, что где-то рядом бродит ее тень. Я коротко вспомнил о том, какой я ее представлял перед моим знакомством с ней, об отдаленности ее тогдашней от меня совсем молодого наподобие того, как, скажем, от нее молодой был отдален Фет. О своих первых впечатлениях. О ее одновременно полной отчужденности от происходившего здесь и сейчас, ее реально ощущаемого пребывания в неких отдаленных, возможно, нездешних сферах, а пожалуй, и участие в том, что там совершается, – и столь же полной вовлеченности в то, что творится в комнате, за окном, в стране и в мире. Принадлежности неизвестному мне инобытию – и напряженного проникновения в интересы друзей, в государственную политику, в действие тайных пружин, и ее сочувствие, и ее негодование, и презрение. О ее непрерывной готовности к творчеству, к неожиданному приходу новых строчек: в каковом состоянии, по слову Элиота, и пристало постоянно находиться поэту – подобно пожарной машине, неподвижно стоящей у раскрытых ворот депо, но готовой сорваться с места по первому вызову. А когда строчек не было и она вела себя, как

обычный человек, ее творческая антенна все равно оставалась как будто направленной на клубящиеся вокруг нее поэтические потоки, ища случая подключиться к ним. И опять-таки: одним стержнем, одним концом приемного устройства ее творческий аппарат был обращен к окружавшей ее реальности, другим – к областям, в которых сгущаются заряды поэзии. Я, как умел, обозначил ее место на поэтическом звездном небе. И под конец сказал, как она, живая, обеспечивала прочность пирамиды русской поэзии того времени.

Я представил всех приехавших, заметив, что кто-то из них раз или два встречал ее, а кто-то, может быть, видел во сне и пожелает рассказать: кто о чем захочет… Первый же сменивший меня на сцене, Юрий Кублановский, про сон и рассказал. «Я один из тех, кому посчастливилось видеть ее во сне. Этот сон был сном еще 70-х годов, но и до сих пор он для меня носит характер видения. Настолько он был ощутим, зрителен и точен, по-моему. Мне приснилась Анна Андреевна, сидящая в кресле, и я как бы утыкаюсь лицом ей в колени и говорю: «Анна Андреевна, как мне жалко, что в отличие от Анатолия и Иосифа, Димы, я не мог и не показал Вам своих стихотворений». На что она мне ответила: «Ничего, Юра, в то время в ваших стихах было слишком много отроческих пятен». На этом я проснулся. Я потом в Париже, в первую же нашу встречу с Бродским, разумеется, рассказал ему этот сон. Он подумал и сказал, что действительно похоже. Возможно, она и могла бы так сказать. Прошло действительно больше четверти века, а этот сон и сейчас со мною». После этого Кублановский прочел три своих стихотворения: «Судьба стиха миродержавная», «Портрет» и «Через двадцать пять лет в Прилуках» (о могиле поэта Батюшкова).

Следующим говорил Василий Аксенов. «Сейчас разразится, я думаю. (*Это он о грозе.*) У меня было совсем немного встреч с Анной Андреевной Ахматовой, все благодаря этому господину (*указывает на меня*). По-моему, настоящих – Толя, помоги – встреч, когда мы говорили с ней, было всего две. Потом я еще был на Ордынке, у Ардовых. Еще где-то, кажется, видел. Но, в общем, должен сказать, что те две встречи – они у меня остались в памяти. Я их с большим теплом таким вспоминаю. Хотя она выглядела очень величественно, такая кавалерствующая как бы дама. И кроме того, она была великая, я это все понимал. Но я этого совершенно вроде бы не ощущал. То, как мы общались, это было просто ощущение очень милого, теплого, чудесного человека. И первый раз мы встретились вот здесь. Просто здесь. Мы приехали с моим другом, кинорежиссером Володей Дьяченко из Эстонии. И искали Наймана. И что-то, по-моему, ты нам

сказал, что вот сюда приезжайте. И мы тут кружили, кружили, почти как сегодня, так кружили, но еще дольше, гораздо дольше. И наконец мы уже в сумерках въехали в этот двор – вот оттуда, из этих ворот, и увидели нечто странное. В этом месте, где я сейчас стою, горел костер. И вокруг какие-то кружили молодые тени. И в частности, танцевала цыганка. Это была жена Алеши Баталова. Я так как-то растерялся, никто на нас не обращал внимания, не знал, куда дальше идти. И вдруг из этого дома на крыльцо вышел Толя и Анна Андреевна. И она спросила (мы еще там стояли): «Это кто там еще приехал?» А Толя говорит: «Это Василий Аксенов, писатель такой московский». И она сказала: «Пусть подойдет». *(Смеется.)* Я эту историю рассказывал всегда в классе у меня в Америке, и ребята колоссально заходились от восторга, как мы тогда разговаривали.

Потом другой раз, она, видимо, тогда останавливалась на Стромынке, что ли, где-то в Сокольниках. (*Я: на Короленко, да, рядом со Стромынкой.*) Да-да. А я в это время задумал написать рассказ о Блоке. Я читал когда дневники Блока, то натолкнулся там на такой эпизод, что он сидит где-то в ресторане в «Поплавке». Сидит себе и ест, и никому не мешает. И вдруг к нему подсаживается пьяный полковник. Не помните эту историю, нет? Какой-то пьяный армейский полковник, и говорит: «Я вас узнал и хочу вам высказать свое полнейшее презрение. Кто вы такой вообще, чтобы нашу жизнь отравлять своими сомнениями, страхами? Никому вы тут не нужны…» В общем, вот такая история. И Блок это записал и в конце нервно так прибавил: «Ну что он от меня хотел? Все-таки полковников-то много, а я один». Такая там была мысль. И я тогда подумал, что, может быть, надо написать рассказ об этой встрече. А может быть, вообще что-то такое художественное беллетристическое написать об этом времени, о серебряном веке? Но я ничего, по сути дела, не знал. О бытовой стороне этого времени. И рассказал эту историю Толе, с полковником. Толя говорит: «А почему бы тебе не спросить Анну Андреевну? О ее встречах с Блоком? Вообще что она о Блоке расскажет».

Василий Павлович Аксенов

И мы с этой целью и устроили такой ужин. Мы сидели втроем, за столом. Пили перцовку. Сначала одну бутылку выпили, потом вторую, потом, кажется, третью выпили бутылку. Она изумительно себя вела в обществе, особенно с двумя вот этакими молодцеватыми молодыми писателями. И она говорила,

рассказывала какие-то вещи, которые, безусловно, вошли бы в повествование мое, если бы оно состоялось когда-то. Я помню, например, как она рассказывала о какой-то литературной вечеринке, где они оба были. (По-моему сейчас, грянет она самая – *все о грозе*.) Она говорила: «Все стали расходиться, дамы сели в прихожей в кресла какие-то, а джентльмены стали помогать им надевать калоши». *(Гром.)* «Они тогда, – она сказала, – очень хорошо умели это делать». И я сразу это вообразил, как она сидит такая, как у Альтмана, вот такая вот дама, а один какой-нибудь (Это хорошо. Это смешно, неправда ли? – *про грохот и ливень. Я*: Схожу за зонтиком.)… и кто-то из молодых тогдашних поэтов надевал на нее калоши. А Блок стоял за спиной и беспрерывно ей талдычил одно и то же. Что ему не нравятся стихи Николая Степановича. «Что ни говорите, а я должен признаться, что мне не нравятся стихи Николая Степановича», значит, ее мужа. «И так долго он говорил, что я в конце концов сказала: «Ну и ладно, вам до этого нет никакого дела». (Мне нормально, я хорошо себя чувствую – *про принесенный зонт*.)

Потом мы перешли к более каким-то интимным темам, и я спросил: «А у вас был роман с Блоком?» На что она усмехнулась и сказала: «Его мама, мама Блока, очень хотела, чтобы у нас был роман, но он так как-то и не состоялся». И масса всяких еще дополнительных деталей, которых никто бы из тогдашних людей, оставшихся от этого поколения, так бы не рассказал нам.

Мог ли я подумать, что через какое-то число лет буду преподавать Ахматову в американском университете? И еще на английском языке? И читать ее стихи в переводе на английский? Я тогда вообще занимался и думал – за какие-то страшные грехи приходится читать Гоголя по-английски, Достоевского по-английски, все на проклятом этом английском. А еще и Ахматову читать по-английски! Потом, когда уже остыл, разобрался со всем этим делом, я понял, что есть разные переводы. Например, «Поэма без героя», там по крайней мере четыре текста точно было, а может быть, и гораздо больше. И вот последние тексты в издательстве вышли, вот такой толщины, и там изумительный перевод «Поэмы без героя». Надо сказать, что вначале публика, которая собиралась в классе, – это были молодые американцы и не американцы, иностранцы. По крайней мере одна треть студентов из 35 человек – это были какие-то молодые люди с Ближнего Востока, Ирана, такого типа люди. Эфиопы почему-то были. Я задавал им в начале класса вопрос: «Каких русских писателей вы знаете?» И конечно, сразу, тут же появлялись люди, которые – далеко не все знали Толстого, кое-кто знал – все-таки поднимали руку, говорили: Толстой, Достоевский. Ну кто там

еще? Толстой, Достоевский… *(Кто-то спрашивает: «Чехов?»)* Чехов – это уже очень сложно, никто не говорил – Чехов. Пушкина почти никто не знал. Но почему-то всегда в классе находились люди, которые еще до начала занятий знали Ахматову. Я спрашивал: «Почему? Откуда ты знаешь, вы что, читали ее стихи?» «Нет, стихи не читали, но вот знаем, что такая была поэтесса». Однажды в университет приехала такая артистическая пара – Алла Демидова и Клер Блю, английская актриса. Очень талантливая, кстати говоря. И они читали стихи Ахматовой и Цветаевой. Алла читала с некоторым пафосом, а потом Клер Блю, как полагается, в академической манере, зачитывала перевод. И зал был полон, и, когда читала Алла Демидова, все молчали, потому что никто ни черта не понимал. Потом, когда читала Клер Блю, все почему-то хохотали. Они совершенно не понимали смысла стихов, и, в общем, я думаю, всегда… всякий раз вспоминал эту сцену и думал – ну, сейчас вообще что-то тут такое начнется, как я им буду говорить обо всем этом. Все-таки говорить об Ахматовой, вообще о Серебряном веке этой вот публике, значит, во-первых, пытаться разбить невежество, а во-вторых, пытаться разбить сложившиеся стереотипы американские и вообще западные по поводу русского искусства, русской литературы. Ну, все-таки начинался семестр, вот они выбирали темы курсовых работ, и всякий раз примерно одна треть класса начинала писать про Ахматову. Почему – непонятно. Я им говорил об этом, задавал вопросы. И мне не казалось, что они очень сильно врубились в то, что я читал. Они писали об Ахматовой так дерзко, решительно…

И почти во всех этих работах были страннейшие строчки: «Анна Ахматова по рождению принадлежала к высшей царской аристократии». И я думал, почему у десяти студентов та же самая, одна и та же фраза? Какая там царская аристократия? Дочь морского инженера, она была, пожалуй… Я спрашивал у ребят: «Откуда вы взяли это?» «Из интернета». И тогда я понял, в чем дело. В интернетовских сводках было, что она жила в Царском Селе. И тогда я понял. Ну раз она жила в Царском Селе, значит, она принадлежала к царской аристократии. И вот так они писали, мне приходилось развеивать величие интернета. Один мальчик, кстати говоря, тоже ссылаясь на интернет, написал: «Советский Союз в 17-м веке был отсталой страной». Я говорю: «Где ты это взял?» «В интернете, там так написано!» Интересно, что все это носило такой довольно формальный характер, лишь бы получить кредиты, отметки, чтобы скинуть курс, да? Но всегда почти в классе находилось два или три человека, которые всерьез входили в весь этот текст. Понимали что-то, начинали как-то

волноваться, переживать… И появлялись снова на этом курсе на следующий семестр. Там же каждый семестр бывают разные группы, разные люди вообще. И тогда уже они писали серьезные работы, скажем, о «Поэме без героя». Они, там, вникали вот в эту идею царевича, которая проходит через все творчество Ахматовой, начиная с этого… «У самого моря».

Эта тема царевича, проходящая через все творчество, и, в общем-то, проходящая через «Поэму без героя». Несуществующий, непришедший царевич. Или ушедший царевич. Отсутствующий царевич. Они начинали писать про царевича, тема царевича, они начинали писать о Лотовой жене, они писали о страшных стихах периода блокады – Ахматовой. И вообще вдруг становились… А эти ребята, в общем, они были не продвинутые, а самые молодые такие. У них главный предмет был то computer studies, то electronic engineering и т. д., в общем, какие-то совершенно не филологические темы. Но я знаю, что по дороге некоторые из них именно под влиянием проникновения в ахматовский текст становились какими-то другими. Может быть, они оставались другими по профессии, но что-то в них сдвигалось, они начинали понимать российское искусство, Серебряный век и вспоминали… будут хотя бы вспоминать этот курс в течение своей жизни, а это уже что-то».

«…»

Как-то само собой вышло, что я оказался в роли ведущего. Я должен был наскоро оценивать чье-то выступление, когда оно кончалось, и предварять хоть несколькими словами следующее. Сохранилась – в обрывках – запись того, что звучало: в частности, и моих междометий. Я их сейчас еще немного пообщиплю и почти совсем уже бессвязными фрагментами здесь приведу, просто для передачи атмосферы.

Я считаю, что ненастье сделало нашу встречу более значительной, чем если бы на нее сияло курортное солнце. Не говоря о том, что как-то избавило нас от жары, это само собой разумеется. Мне очень нравится аккомпанемент грома, – как будто это он происходящему значительность придает. Может быть, мне одному наш сегодняшний вечер так нравится. Потому что ведь существует такая филологическая отрасль, как ахматоведение, она создает и собирает многодневные конференции. И я не исключаю такого поворота событий, что если бы выпустить сюда конференциалов, то и мы, и они бы совершенно увяли в одну минуту. А Василий Павлович рассказал,

какая Ахматова была живая и одновременно как ее преподают.

А сейчас переходим к ее стихам. Насколько я знаю, Александр Петрович четыре песни написал на ее стихи, на одно Бродского и одно Мандельштама. Поехали.

Пение.

А еще удача этой встречи в том, что нас столько, сколько есть. А то представим себе, что нас, скажем, в пять раз больше, а представить это очень просто. И вытоптанный участок, и все такое… И уже как-то совершенно неважно, станет это повторяющимся каким-то событием, это 23 июня или нет. В моей памяти останутся, вот эта группа – две прелестные женщины, которые держат зонты над двумя такими лысыми мощными мужиками. И Игорь совершенно замечательно аккомпанировал, как-то он остался незамечен, а я думаю, что на обратном пути в Москву я как-нибудь подговорю, пусть и мне тоже поаккомпанирует, неизвестно чему, но мы сообразим, потому что это совершенно замечательный артист. Ну вот. Не хотелось бы так, между прочим, на полуслове кончать, так что я два стихотворения (два!) прочту, и уже мы разойдемся. На память, я, конечно, не помню, потому что одно написал сто лет назад, другое двести. Одно написано незадолго до ее смерти, второе сразу после ее смерти. Из первого она взяла строчку на эпиграф, так же, как «Вы напишите о нас наискосок» к стихотворению, посвященному Бродскому. А из моего строчку «Ваша горькая божественная речь» для стихотворения, которое посвятила мне. То же проделала и с Бобышевым, посвятив ему «Пятую розу». (*Снова пошел дождь.*)

Игорь Хомич, Александр Жуков, Вера Жукова – под зонтом

Знаете, я год прожил в Англии, там специфическое отношению к дождю. Там, например, идет дождь, ну и некоторые люди, как мы с вами, берут зонтики, а другие – они как раз выходят в майках, даже если дождь со снегом. Там такая тоже вещь бывает. Они этим показывают, что все зависит только от установки, мол, «вам кажется, дождь со снегом, а мне кажется, что такой туман легкий». И идут в T-shirtах по улице. Поэтому у меня совершенно другое воспитание.

Значит, стихотворения «Я прощаюсь с этим временем навек» и «Картина в раме». Это не выдуманная картина в раме, а

отвечает той фотографии, о которой упомянул Жуков. Не той, где мы сидим на вон этой скамейке, а где стоим в подлеске перед Будкой по соседству со скамейкой. (*Читаю.*)

Теперь благодарю всех, с кем мы здесь сошлись, и особенно моих спутников по мягкому вагону поезда из Москвы и по сидячему обратно.

(*Ответные спасибо.*)

2007

День был ослепительный, чуть не до полночи солнце не гасло. Людей пришло в несколько раз больше – как мне показалось, независимо от погоды, а наслушавшись рассказов о прошлогоднем. Я, открывая собрание, повторил – для «новеньких» – как здесь поселилась Ахматова, как пришла в упадок Будка, как ее привел в приличный вид Жуков. И как он к этому дому и этому месту прикипел сердцем.

Дальше я должен был осведомить публику, какая ее ждет программа и почему. У меня в одной из тетрадок сохранился черновик этого выступления, плюс оно записывалось на пленку – я одно с другим соединил и сейчас переношу получившееся на бумагу. «В прошлом году мы сюда приезжали и просто что-то в день рождения Ахматовой о ней, о ее стихах, на нее ссылаясь, говорили. А в этом году Жуков удумал такую штуку – рассказываю, ни на ноготь не отступая от правды… В этом году он, где-то такое зимой, сказал: «Я тут пересекся с некоторыми исполнителями авторской песни, рассказал им про нашу поездку, и они выразили желание тоже почтить Анну Андреевну в день рождения своим искусством. Так что хотелось бы в этом году устроить, чтобы они выступили с песней. В частности, Александр Городницкий и Юлий Ким». Мне это показалось с Ахматовой, безусловно, несочетаемым, я объяснил причины. Он сказал: «Я потому и прошу вас подумать, как сделать, чтобы это сочеталось с Ахматовой». Я посмотрел на него неодобрительно и заносчиво, но стал думать.

Одно из самых ранних стихотворений Ахматовой, из первых, это очень известное, хрестоматийное «Я на солнечном восходе про беду пою, / На коленях в огороде лебеду полю». И вообще на протяжении столетий в разных народах стихотворение принято было называть песней. Поэт – поет. Ахматова в двадцать пять лет написала стихотворение, в котором по моим и не только по моим понятиям заключается ее кредо. Это стихотворение тоже очень известное, и когда Бродский написал свой знаменитый «Рождественский романс»: «Плывет в тоске необъяснимой / Среди кирпичного надсада», то первое, что пришло в голову, что это ритм и мелодия этих самых ахматовских стихов: «Я улыбаться перестала, / Холодный ветер губы студит»… И дальше идет четыре строчки – того, что я имею в виду под заявлением кредо. «Одной надеждой меньше стало, / Одною песней больше будет. / И эту песню я невольно / Отдам на смех и поруганье». И конец – две строчки: «Затем, что нестерпимо больно / Душе любовное

молчанье».

Вот это «одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет» – это во многом и определение ее жизни. То есть жизнь, которая сконцентрировала в себе такое количество боли и страдания и которая вместе с тем празднична, потому что вот это – «одною песней больше будет»! Наконец, у Ахматовой есть стихотворение, которое называется «Песня о песне». Я его не собираюсь целиком читать, начало – «Она сначала обожжет, / Как ветерок студеный, / А после в сердце упадет / Одной слезой соленой». И дальше знаменитые тоже четыре строчки: «Я только сею. Собирать / Придут другие. Что же! / И жниц ликующую рать / Благослови, о Боже». Эти четыре строчки сделались пророческими: действительно, возникло несметное число последовательниц-подражательниц Ахматовой. Все, что можно назвать «женской нотой» не могло ее миновать, обойти. Она, сама ее стихотворная манера определила эту женскую ноту. И оказалось, что если продолжать думать об этом – так, как меня попросил устроитель наших встреч подумать, чтобы нынешняя так называемая авторская песня сочеталась с песенной темой у Ахматовой, – то вот, как видите, точнее слышите, мне вспомнилось несколько вещей довольно существенных.

Александр Городницкий и Анатолий Найман поют песню Глеба Горбовского «Он вез директора из треста»

Дело в том, что отсчет значимости, проникновенности, уровня, искусства этой самой авторской песни, самого понятия ее,

сегодня идет от нескольких фигур, две из которых здесь присутствуют. Когда заходит разговор о песне, главные… ну, не главные, это слово тут неуместно, но первые имена, которые мы перечисляем, – это Окуджава, Высоцкий, Галич. То есть московских корней. Я же настаиваю на том, что песня настоящая, в первичном ее значении, не на эстрадное исполнение рассчитанная, и не на признание, и не на любовь поклонников, а вместе с тем совершенно замечательная – она как раз ленинградская. То есть *и* ленинградская. Песню «Когда качаются фонарики ночные», классику авторской и одновременно безымянной песни, ее сочинил Глеб Горбовский. И даже был за это раз или два бит, потому что, когда он объявлял, что это он – автор, его слова и его немудреные аккорды, ему грубо возражали, непримиримо, мол, мы знаем, автор – народ. Что-то такое. Эту песню нельзя сказать, что я исполнял, я вообще не умею петь, но эту песню я тем не менее, как-то Ахматовой, ну что ли… другого слова не знаю, – «пропел». А поскольку эта песня невероятно свободная, нестеснительная и поскольку все ее тогда пели, текст был канонический, то единственно, какую я позволил себе в ней замену – непонятно почему, сейчас так бы не случилось, но тогда мне померещилось, что будет лучше, если я спою… и, между прочим, в чем-то песня из-за этого проиграла, зато в другом выиграла… там есть такой куплет «Мне девка ноги целовала, как шальная / Одна вдова со мной пропила отчий дом, / И мой нахальный смех всегда имел успех / Ах, моя юность пролетела кувырком». Так вот почему-то вместо «мне девка ноги целовала», я спел «мне *дева* ноги целовала, как шальная». Мне казалось, что это больше отвечает стилистике нашего тогдашнего разговора с Ахматовой. Кроме того, я ее познакомил с песней «Он вез директора из треста». Которую, если бы мне Городницкий как-то помог, мы бы ее исполнили, потому что она классная…»

Александр Городницкий: Давай (*поднимается на эстраду*). *Я*: Давай, да?

Он вез директора из треста
на «Волге» цвета изумруд.
Не суждено было до места
доехать тем, кого везут.

На самом тесном повороте
разбил шофера паралич.
В предсмертной жалобной икоте
упал на руль шофер Кузьмич.

Машину вынесло под гору,
нога шофера на газу,
поехал он под светофоры,
а был ведь ни в одном глазу.

Директор делал выкрутасы,
баранку рвал у мертвеца.
Но ни одна на свете трасса,
эх, не бывает без конца.

Она кончалась магазином,
где ювелир, как изумруд,
стоял, зеленый рот разинув,
и думал: «Счас меня убьют».

Вот так убили ювелира.
Его убил мертвец-шофер.
И поэтическая лира
на том кончает разговор.

(Аплодисменты.)

Я: Эта песня пользовалась успехом у всех аудиторий, включая и Анну Ахматову конкретно.

А кроме того, когда я вернулся после одной поездки в деревню, куда был сослан Бродский, я привез тоже оттуда его песню. Спел, как умел. Песню «Лили Марлен», которую считаю превосходной. Позднее он приписал еще два куплета, но это было уже не то, другая история. В те времена денег у нас совсем не было, поэтому любое обещание воспринималось как почти гонорар. А ему сказали, кто-то из Александринки, что, если он напишет текст полномерный, то песню возьмут для какого-то спектакля и заплатят. Надо бы, понимаете, что-то прибавить. Он прибавил два куплета, они не украсили песню. И им к тому же не подошло. Куплеты неплохие, но песню не украсили.

Такая же, но с другим окончанием была история, когда упоминавшемуся Горбовскому заказали писать стихи рекламные для Аэрофлота. Ну представьте себе, там, начало 60-х годов, и он написал. Ему сказали: «Да, это чудесно, но, вы знаете, надо, чтобы вы переделали немножко, нам не совсем подходит». Он переделал, потому что это были реальные 30 рублей, что-то такое. Он переделал, ему сказали: «Это гораздо лучше. Еще немного». И он переделал: «Я люблю самолеты в небе, / я люблю

тела их тугие…» Потом внезапно не в жанре Аэрофлота – «Пусть ни разу я трезвым не был, / Но меня уважают другие. / Я люблю самолеты? Враки! / Не люблю я этих уродов! / Пусть простит меня Коккинаки, / Вот такой я есть от природы». Коккинаки был знаменитый летчик-испытатель тогда. Вот примерно это же произошло с песней «Лили Марлен», которую я… А где Игорь с его прекрасной гитарой?

Ну, попробуем. «Лили Марлен» – нельзя не знать этой песни.

Если я в окопе от страха не умру,
Если русский снайпер мне не сделает дыру,
Если я сам не сдамся в плен,
То будем вновь
Крутить любовь,
Моя Лили Марлен.
Моя Лили Марлен.

Лупят ураганным, Боже помоги!
Я отдам иванам шлем и сапоги,
Лишь бы разрешили мне взамен
Под фонарем
стоять вдвоем
с тобой, Лили Марлен!
С тобой, Лили Марлен.

Есть ли что банальней смерти на войне
И сентиментальней встречи при луне?
Есть ли что круглей твоих колен,
Колен твоих,
Ich liebe dich,
Моя Лили Марлен?
Моя Лили Марлен.

Моя обязанность была разжечь. Как сейчас говорят, «разжечь» – и никакого прямого дополнения не следует.

Вопрос из публики: «А что Анна Андреевна-то сказала?»

Она выслушала песню, и довольно неожиданно для меня сказала: «Никогда не слышала ничего более циничного». И я подумал, что это «Я отдам иванам шлем и сапоги», наверное, имелось в виду, такой особый цинизм. Или все вместе?

Значит, моя обязанность была «разжечь», я это сделал. А

теперь скажу, что нам предстоит. Следующий будет Александр Городницкий, который, не знаю, мы говорили с ним, хотел почитать стихи, но поскольку мы собрались все-таки в память и о 60-х годах, хотелось бы, чтобы ты… ну что-нибудь, ну хиты твои, да? Я понимаю, каково тебе, но все-таки «Деревянные города», а? Какие-то такие вещи. Я тебя прошу просто, да? Потом я хотел попросить Андрея Битова сказать что-то. После Городницкого. Потом Юлий Ким, с которым никак не договаривались, с ним договориться невозможно, он будет делать все, что он хочет. Потом Валерий Попов, который просто в этом доме живет. Помимо того, что он такой известный писатель, он еще в этом доме просто живет. Потом будет Александр Жуков, споет вместе с Игорем несколько песен. А потом Павел Крючков, он приготовил несколько записей. Он замечательный знаток записей, вообще, звукозаписи. И, главным образом, звукозаписей литературных стихов. И на этом, значит, все кончится, вот такая программа. Ну вот, всего вам доброго.

Александр Городницкий: Вообще-то ты меня поставил в тупик, потому что я собирался все не так выложить… А главное, что, в отличие от тебя, я повязан Игорем Хомичем, с которым мы сегодня… он прекрасный гитарист, но мы что-то подобрали совсем другое. Поэтому я приношу извинения… если он подстроится каким-то образом потом. Значит, Игорь, спасибо. Мы все-таки будем действовать по тому плану – что мы подобрали что-то такое определенное, я же сам на гитаре не играю. Я хотел что-то имеющее отношение к Комарову все-таки. И поэтому я какие-то пару стишков прочитаю. И пару песен покажу, ладно?

На Комаровском кладбище лесном,
Где дальний гром аукается с эхом,
Спят узники июньским легким сном,
Тень облака скользит по барельефам.

Большая ель склоняет ветки вниз
Над молотком меж строчек золоченых.
Спят рядом два геолога ученых,
Наливкины – Димитрий и Борис.

Мне вдруг Нева привидится вдали
За окнами, и краны на причале.
Когда-то братья в Горном нам читали
Курс лекций по истории Земли.

Бесследно литосферная плита
Уходит вниз, хребты и скалы сгрудив.
Все временно – рептилии и люди.
Что прежде них и после? Пустота.

Переполняясь этой пустотой,
Минуя листьев осторожный шорох,
Остановлюсь я молча над плитой
Владимира Ефимовича Шора.

И вспомню я, над тишиной могил
Услышав шум весеннего трамвая,
Как Шор в аудиторию входил,
Локтем протеза папку прижимая.

Он кафедрой заведовал тогда,
А я был первокурсником. Не в этом,
Однако, дело: в давние года
Он для меня был мэтром и поэтом.

Ему, превозмогая легкий страх,
Носил я переводы для зачета.
Мы говорили битый час о чем-то,
Да не о чем-то, помню – о стихах.

Везде, куда ни гляну невзначай,
Свидетельства оборванных историй.
Вот Клещенко, отважный Анатолий,
Мы в тундре с ним заваривали чай.

На поединок вызвавший судьбу,
С Камчатки, где искал он воздух чистый,
Осенней ночью, пасмурной и мглистой,
Сюда он прибыл в цинковом гробу.

Здесь жизнь моя под каждою плитой,
И не случайна эта встреча наша.
Привет тебе, Долинина Наташа!
Давненько мы не виделись с тобой!

То книгу вспоминаю, то статью,
То мелкие житейские детали —
У города ночного на краю
Когда-то с нею мы стихи читали.

Где прежние ее ученики?
Вошла ли в них ее уроков сила?
Живут ли так, как их она учила,
Неискренней эпохе вопреки?

На Комаровском кладбище лесном,
В ахматовском зеленом пантеоне,
На травяном и каменистом склоне,
Я вспоминаю о себе самом.

Блестит вдали озерная вода.
Своих питомцев окликает стая.
Еще я жив, но «часть меня большая»
Уже перемещается сюда.

И давний вспоминается мне стих
На Комаровском кладбище зеленом:
Что делать мне? Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих.

Ну, вот, сейчас я Игоря призову.
Песня. «Памяти Анны Ахматовой».

Ах, нескоро, нескоро
Обретешь ты уют.
У Николы Морского
Тебя отпоют.
Только кто это плачет
Над Стиксом-рекой,
Если путь только начат
И плыть далеко?
Ах, нескоро, нескоро
Обретешь ты сынов
Близ прибоя морского
Меж крутых валунов.
Сосны справа и слева,
И струится песок
На лицо королевы
Под высокий висок.
Ах, нескоро, нескоро
Обретем мы покой.
Лег под сердце осколок
Отзвеневшей строкой.

Ноет старою раной
Строка за строкой…
Рабу Божию Анну
Во святых упокой.

Стихотворение «Под крылом над спящим Ленинградом».

Песня «Коломна».

Стихотворение «Я детство отстоял в очередях».

Песня «Ленинградская»: «Мне трудно, вернувшись назад».

И в рюмочной на Моховой
Среди алкашей утомленных
Мы выпьем за дым над Невой
Из стопок простых и граненых —
За шпилей твоих окоем,
За облик немеркнущий прошлый,
За то, что, покуда живешь ты,
И мы как-нибудь проживем.

Спасибо.

Я: Слово Андрею Битову, где он у нас? А вот, Андрей, идет…

Андрей Битов: Честно говоря, это много чести. И я здесь ни при чем.

Анну Андреевну я встречал три-четыре раза, и все три-четыре раза очень хорошо запомнил, потому что терялся настолько, что все кончалось тем, что я ей хамил, а она меня ставила на место. Так что мемуары стоят недорого. Но они могут быть только правдивые. В первый раз она меня научила, как подписывать книги. Я, видя трепет и дрожание всего комаровского дома перед живым тогда, к счастью, монументом… – никто не знал, что она «живой», но все знали, что она «монумент» – эта разница, значит, ощущалась, по-видимому, она привыкла к этому уже.

У микрофона Андрей Битов

В общем, я надписываю ей первую книжку, но я пишу там «Глубокоуважаемой», всеми крыльями нахлопал, и «Анне Андреевне», поскольку она по кликухе была Анна Андреевна. Она читает и говорит: «Да вы что? Городничихе, что ли? Я – Ахматова». Это был первый урок. Значит, я понял, что, значит, надо указывать фамилию. И потом, видя некоторое мое смущение, она мне сказала, что «запомните, важно – кому, от кого и когда. Ну, можно «где», но это не обязательно». Это идеальная формула, значит. Спасибо, с первого же раза человек был точен. Первое же хамство мое не прошло. Значит, не городничихе, а Ахматовой. Ну, хорошо, я вписал птичкой, что она «Ахматова», вставил или даже другую книжку подарил, не помню.

Потом она мне сказала, прочитав на следующий же день книжку – там был рассказ «Юбилей», где писатель умирает в семьдесят лет. Написан он был в шестидесятом году. Мне еще и 23 не было, мне было 22 года, я написал о том, как старый, с моей точки зрения, писатель семидесяти лет помирает. Но в это время в семьдесят помер Пастернак, что-то было подряд несколько значительных смертей, и я сделал такой рассказик. Не переиздавал его практически. А начиналось там с того, что легко проснулся. Вот он проснулся налегке, в день, накануне юбилея, что как в детстве, то есть, у него ничего не болело, как на воздусях. И потом понял, что какой ужас ему предстоит в виде юбилея. И потом он умирает ровно, точно рассчитав, каким-то образом, по судьбе, по Господу, помирает ровно накануне, все

отослав, всех отослав прийти на свой юбилей, но умирает ровно накануне. В общем, Анна Андреевна по этому поводу сказала: «Что вы понимаете в ощущениях старого человека? Ну, все болит, – говорит, – все болит. Вы абсолютно написали чепуху». Глядя на меня, значит, 48 лет у нас разница. Но я даже не заметил, что я обиделся, но решил учесть, что, может быть, действительно, я чепуху написал. Когда моей матушке было уже за восемьдесят, она просыпается, а я говорю – а я в этот момент переиздавал, наконец, этот рассказ и вспомнил, значит, вот какая длинная обидная память! вспомнил – говорю: «Матушка, ты вот проснулась легко?» Она говорит: «Совершенно легко». «И что? У тебя ничего не болело?» «Ничего не болело».

Ну, думаю, Анна Андреевна, вот тебе. Значит, сейчас мне уже за семьдесят и я не помер. Ладно. И просыпаюсь иной раз легко, совершенно легко, а иной раз очень тяжело. Но так же тяжело я просыпался и когда было 22 года, так что зависит, как говорят. Значит, вот второе хамство. Может быть, хватит их перечислять? Ну, в общем, каждый раз запоминался, это свойство, конечно, великого человека.

Я не являюсь большим поклонником Анны Андреевны, должен вам честно сказать. Мне не нравится – «здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворешни»… Мне это не нравится, так же как мне не нравится «Морозный ветер губы студит». Не нравится! Ничего я с этим поделать не могу. Вот, мы Быки, она – Бык и я – Бык, а у Быков, по астрологии, конфликты из-за власти. Я на власть Анны Андреевны не претендую, но иметь свое отношение к ней могу. Мы из одного цеха, и знаю я: самое главное, что – «Поэт! Не дорожи любовию народной, / Восторженных похвал пройдет минутный шум. / Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, / Но ты останься горд, спокоен и угрюм». Вот никто не написал так. А у Пушкина вы не найдете слабины. Нигде. Она, правда, лучше всех чувствовала Пушкина, за это я ее очень чту. Как можно было «ногу ножкой называть». Это прелестный пушкинский жест. Значит, чувствовала, ухо у нее было, вот такое, больше всех остальных органов.

И, значит, этим ухом она услышала, допустим, Горбовского… За что я благодарен Анатолию Найману, что Горбовский прозвучал здесь первым словом. Тогда придется вспомнить третье хамство. Третье хамство, значит, в том же 63-м году, это была какая честь, представляете! Значит, Горбовский всегда пьяный, я тоже за ним следом – ученик достойный… Вот, и она предоставляет нам машинопись, такую потрепанную, с загнутыми ушами, «Поэма без героя». Это все же из-под полы, шестьдесят третий год. Ну, мы читаем с Глебом, и то ли нам опохмелиться

охота, ну, не врубаемся ни во что. К тому же, честно говоря, я больше любил стихи Кузмина. Размер которых преобладает в Поэме. Вот. Но, тем не менее, значит, не врубаемся. Врубаемся в одно место, которое потом я редко нахожу, не во всех изданиях: «За тебя я заплатила чистоганом, десять лет ходила под наганом». Вот это, говорю, да. Потом Горбовский, как более опытный алкоголик, значит, что он делает. Он говорит: «Отнеси ей рукопись». А я говорю: «Глеб, ты же поэт, ты отнеси». Нет, он меня подло выпихивает. Ну, что. Я, значит, стучусь, открывает сама. Я ей подаю рукопись, говорю спасибо огромное, опять же Анна Андреевна, тут уже не говорю устно, что она «Анна Андреевна Ахматова», я понимаю, что это уже не надо, не требуется. «Спасибо, Анна Андреевна, огромное впечатление». Значит, ну и чувствую, что я чего-то такое не дотягиваю. Я ей говорю: «Ну, я не мастер говорить комплименты». Она говорит мне: «Что же это вы не мастер?» – захлопывает дверь. Значит, вот таким образом, еще одно. Значит, все это запомнено, все это прожито, и с этим я вполне живу, понимаете… Я ее открываю там, где и когда она мне это позволит, а не когда это требуется. Так что, «поэт, не дорожи любовию народной». Спасибо.

Юлий Ким: Раз, два. Все. Ле хаим. Теперь посмотрим, что с гитарой. После Битова чрезвычайно легко выступать. С его призывом не дорожить любовию народной. Точнее, с пушкинским призывом. Поскольку сказано было – делай, что хочешь, я и приступаю. Мне тоже захотелось вспомнить некоторые стихи, но все-таки сначала я должен вам сказать несколько слов о сегодняшнем юбилее. Или дне рождения, если точнее.

Выступает Юлий Ким

Я Ахматову видел не единожды. Но на портрете. На портрете я ее видел, исполненном Юрием Ковалем, у которого был период шаризма. Он все рисовал в виде шаров. Шары были прекрасны, но за ними терялось сходство с оригиналом. Поэтому единственное, что я понял, что он воспринял Ахматову, как явление

величественное. И действительно, это было несколько величественных шаров, а что это была Ахматова, трудно было догадаться, если бы не подпись. Потом я видел Ахматову еще в собрании Гарика Губермана, но он привез это, по-моему, либо из Сочи, либо из какой-нибудь тьмутаракани… Это была небольшая статуэтка, изображающая женщину в белом, с огромными лиловыми губами, такими же глазами и пунцовыми щеками. Чтобы мы не ошиблись, внизу было написано «Ахматова». Гарик вообще любит собирать кич. Ну и наконец еще одно воспоминание, связанное с Ахматовой, другого рода. Это воспоминание музыкальное. Композитор Дашкевич, с которым я сотрудничаю довольно давно, написал музыку к ее «Реквиему». Это было сочинение для солистки с мужским хором. Солистка нашлась сразу, его любимая и многими нами ценимая и любимая Елена Камбурова, которая мгновенно выучила всю эту довольно сложную партию свою и всю спела. Она пела текст, а мужской хор должен был сопровождать вокализ. То есть он пел букву «а» по нотам, которые предписал ему Дашкевич. Это «а» звучало местами очень сильно. Интересно, где нашел Дашкевич этот мужской хор. Он долго искал для Камбуровой достойное вокальное мужское обрамление, и этим хором оказался, в зале Чайковского было дело, хор МВД. И этот хор МВД явился в своих форменных мундирах милицейских, с погонами. Мундиры все были отутюжены, выглядели очень красиво. Папки с нотами у них были красные. Это был абсолютно конвой. И этот конвой очень старательно пел предписанные ему ноты, и получалось очень сильное впечатление, причем с каким-то двойным смыслом. Потом, я помню, какой-то лохматый неврастенический тип налетел на меня, почему-то на меня, а не на Дашкевича. Ну, вероятно, он знал о нашей с ним дружбе… в перерыве, а нет, после этого события он налетел и закричал: «Это кощунство! Это кощунство!» Но я с ним не согласился. Мне казалось, что именно так и должно быть. Так им и надо, пусть поют. И вот на этом мои воспоминания заканчиваются, и я приступаю…

Но, прежде чем петь, я решил почитать стихи, вдохновившись примером Городницкого, тем более что с его именем эти стихи и связаны. Как-то мы с ним провели, довольно бесславный в смысле финансовом, концертный тур по северу, зато за это время мы с ним хорошо сошлись, подружились. И это, наверное, было самым главным итогом нашего взаимного тогда путешествия. В результате, как говорят поэты, ко мне пришли строки.

Юлий Ким и Городницкий
Две заслуженных гитары,

Две почтенных седины,
Песни бардовской титаны,
Колебатели струны,
Посреди родной страны
На пространном перегоне
В замечательном вагоне —
В мягком, спальном, черт возьми!
Как у Бога на ладони,
Ужинают визави.

Только что-то не по-русски
Ихний выглядит фуршет:
Вон грибочки, вон закуски,
А поллитры – нет как нет!
Неприятные детали
Подмечает грустный взор:
Между рыбкой и салями
Адельфан и валидол.
И с улыбкою печальной
Вспоминаешь пару строк:
«Нет дороге окончанья,
Есть зато ее итог…»

Но зато какого жару
Полон праздный разговор!
Красота – вести на пару
Этот смачный перебор:
Где,
Когда
И сколько водки
Было выпито – в Находке,
На Курилах и Камчатке,
На Фарерах и Чукотке,
На Игарке, на Майорке,
На байдарке, на моторке,
Вдоль деревни у калитки,
В будуаре у красотки,
Над кроваткою малютки,
Под голландские селедки.
Под французские улитки,
Под х/б и ДДТ,
И т. д.!
И т. п.!

Вот какие тары-бары
Две заслуженных гитары
Развели в своем купе,
Развалясь на канапе!

Для начала, позвольте я разбегусь на песнях не своих. Потому что это предмет моей гордости – спеть две песни Окуджавы. Я с трудом учу чужие песни, даже если они мне нравятся, запоминаются они все-таки с трудом. Это не свойство моего отношения к ним, а это качество моего слухового склероза. Но тем не менее, для того, чтобы принять участие в фестивале имени Булата, я должен был выучить хотя бы одну песню Булата Шалвовича. Я поднатужился и перевыполнил норму вдвое. И с тех пор мне ужасно нравится петь эти песни. Причем одну из них я даже позволил себе продолжить. Вот эту вот.

Что-то дождичек удач падает нечасто,
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить,
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
И, наверно, сразу мне станет легче жить.

Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела, можно не гадать:
Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
И на сердце у меня будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет, скажу, здравствуй, Белла,
Скажу, дело у меня, помоги решить.
Она скажет: ерунда, разве это дело,
И, конечно, сразу мне станет легче жить.

Часто снятся по ночам кабинеты эти,
Не сегодняшние – нет, завтрашние – да:
Самовары на столе, дама на портрете.
В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Города моей страны все в леса одеты,
Звук пилы и топора трудно заглушить.
Может, это для друзей строят кабинеты?
Вот построят, и тогда станет легче жить.

Этой песенке, Булат, третье десятилетие.
Кабинетов развелось – сосчитать нельзя,
Бренди с виски на столе, Путин на портрете,
Кто угодно за столом, только не друзья.

Но друзей твоих, Булат, все не убывает,
И ни сумою, ни тюрьмой их не устрашить,
Если что, они твою песню запевают,
А от этого, Булат, сразу легче жить.

Сейчас, с вашего позволения, – очень люблю эту песенку – «В поход на чужую страну собирался король…»

Теперь, было попрошено спеть что-нибудь из старого. Мою и старую. Сначала грустную… Сначала минорную, потом мажорную.

Песня «Губы окаянные, думы потаенные…»

Следующее сочинение, тоже старая песенка, как раз летняя, курортная. В этом сочинении важно взять последнюю ноту. Я за это не ручаюсь, но я буду стараться.

Чудное море, Черное море,
О, этот блеск плюс плеск близкой волны!
Мы окунулись раз в Черное море
И оказались словно негры черны.

(ноту) Взял!

Песня «Отважный капитан»:

Хорошо идти фрегату
По проливу Каттегату…

Ну и еще. Я, конечно, для того, чтобы срифмовать Жанейро придумал вино Эль-Мадейро. Такого вина на свете нет, но теперь уж, кажется, должно быть. Про Рио-де-Жанейро есть еще одно упоминание, в другой песне. В монологе Остапа Бендера. «Танго мечты». Тут музыку сочинил Геннадий Гладков.

Молчите, молчите, прошу, не надо слов.

Поверьте бродяге и поэту…

И еще один монолог Остапа Бендера, который я принес Гладкову с намерением, чтобы он сочинил еще одно танго: «Вот тебе еще – главное танго Остапа Бендера». Но он сделал из него фокстрот. Я говорю, зачем ты это делаешь, зачем фокстрот? В фокстроте там слишком быстрый темп, люди не расслышат мои прекрасные стихи. Он сказал: «Андрей споет, все все расслышат». Так оно и произошло.

Нет, я не плачу и не рыдаю,
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной,
Что я увлекся этою игрой…

Нет, просят рассказать, как мы путешествовали с Городницким по северу, но это в другой раз. Это трагическая история все-таки, в основном, да. Я лучше приглашу Валерия Попова, который, по-моему, в программе числится следующим.

Валерий Попов: Как раз после Битова было легко, а после Кима очень тяжело. Но надо, потому что я оказался сменщиком Анатолия Генриховича Наймана, который вот был здесь. Прошли годы, и я докладываю, что произошло на принятом мной объекте. Я вообще добиваюсь в жизни всего, но всегда с огромным опозданием, и вот эта Будка мне досталась в совершенно разрушенном состоянии. Она падала, мой отец провалился под это самое крыльцо, где сейчас двенадцать человек сидит, и выдерживает оно их. Я как-то сижу и думаю, что же такое, за жизнь такая странная, вот развалится эта Будка, и я даже не знаю толком, что здесь происходило. И вдруг я вижу, вот здесь, где стоят многочисленные зрители, очередная экскурсия, (вообще, они часто здесь появляются, я уже привык), и замечательный библиотекарь, краевед, Ира Снеговая, которая знает про Комарово все. Кто здесь жил, она вам расскажет. Это совершенно потрясающее место, здесь такие люди ходили, и она все это знает. Я думаю, дай я пойду к Ире, узнаю еще что-нибудь про Будку, пока она не развалилась совсем. И Ира приглашает меня, мы с ней едем на кладбище, на могилу Ахматовой. И речь, то есть *И*рина, идет о «сиротах» Ахматовой… Вы знаете их. Это Найман, Рейн, Бродский и Бобышев. И при слове «Бобышев» я вижу Диму Бобышева, идущего к могиле Ахматовой. Уже толстого, седого, но настоящего. Я знаю, что уже «сироты» Ахматовой… что жизнь их

раскидала, поссорила, но я люблю их всех, я знаю, что у каждого из них есть за что его любить. И мы целуемся с Димой, он какие-то мемуары не те написал, но мне на это плевать, я знаю, что он замечательный поэт и мужик, и я его люблю, так же как и всех «сирот». И с ним еще один человек, незнакомый мне. Мы приезжаем сюда, выпиваем, смотрим на проваленное моим батей крыльцо. И вот этот человек говорит: «А, пожалуй, я это дело так не оставлю, я починю эту Будку». Это Александр Петрович Жуков, благодаря которому мы здесь находимся. И, действительно, приезжают какие-то плотники из-под Смоленска и как-то лихо, весело, за несколько месяцев делают вот этот шедевр. И мне понравилось, что Александр Петрович приехал через четыре месяца, в ноябре уже, на открытие новой Будки в той же самой курточке, в которой он был летом.

Дмитрий Бобышев с женой Галиной Рубинштейн у могилы Ахматовой в тот день, когда их встретил там Попов

То есть вот этот человек потрясающей скромности, и как бы ему самому ничего не надо. Вот эта курточка меня совершенно заставила полюбить его всей душой. И вот, благодаря его скромным действиям, ось Комарова сохранилась, потому что ось Комарова – это Будка Ахматовой. Если бы не она, здесь уже все было бы другое, здесь бы стояли какие-нибудь небоскребы, вы бы здесь не сидели. То есть Александр Петрович сохранил ось

Комарова, сердцевину ее. Вот за это ему надо сказать огромное спасибо. Здесь до сих пор это святое место, я благодарен ему за то, что, не знаю как бы было, а я вот в этой Будке написал три сочинения, три книги, каждая из которых посвящена этой Будке. Действие происходит здесь, здесь такие страсти, здесь такие ужасы и восторги, это все в этих декорациях, которые сохранил он. Если вам удастся почитать книги «Комар живет, пока поет», «Золотое клеймо неудачи» и «Культовый Питер» и еще некоторые вещи, это все про это. Это все благодаря тому, что это осталось. И это место по-прежнему святое, здесь жизнь не прекращается. Вот Горбовского сегодня вспоминали, а вот жена его, Лида Гладкая, только что вымыла пол вот в той будке, и Глеб вот-вот должен приехать. Жалко, что еще пол не просох, и он еще не приехал. То есть это место все равно наше главное, наше любимое место. И что я скажу, что не все поэты уехали в Москву. Мы здесь, в нашем городе, вручаем каждый год премию Ахматовой, и каждый раз находятся, может быть, известные или неизвестные, новые, старые поэты. Но в этом году получил премию Ахматовой поэт, который жил в Москве, который из Москвы приехал в Питер, что для поэта редкость, за что мы его полюбили. Пусть покажется Виталий Дмитриев и скажет несколько слов. Это тот, кто сейчас любимец и лауреат премии Ахматовой. Так что жизнь здесь не иссякла.

Виталий Дмитриев: Большая честь стоять на этой сцене и с нее говорить, хотя Ахматову я не знал, хотя по возрасту мог бы. Я 50-го года рождения и при определенном стечении обстоятельств… Не захотел. И я счастлив, что получил в этом году премию Анны Андреевны Ахматовой за свою книгу. Но вот о чем я хотел сказать: мы когда с женой сюда приехали по приглашению Валеры, мы немножко заплутали, хотя мы здесь не раз бывали. И мы у местного населения, у дачников спрашивали: «А как пройти к Будке Ахматовой?» И, слава богу, никто не спрашивал, кто такая Ахматова, но где Будка – мы узнали только у десятого, по-моему, человека. И мне стало немножко грустно от этого, что местные дачники, к сожалению, даже многие, не знают, где жила Анна Андреевна, теперь будут знать…*(Смеется.)* Но поскольку я вышел на эту сцену, и я лауреат премии Анны Ахматовой, я прочту одно маленькое, коротенькое стихотворение. Грустное, как раз связанное с тем, что многое забывается, к сожалению. Стихи такие:

Анхель де Куатье, Харуки Мураками…
Простите, не слыхал – я развожу руками.

Акунина, и то – прочел до середины,
Как список кораблей в поэме, столь старинной,
Что автора, увы, забыли даже греки.
Не помните и вы об этом человеке.

Он по миру бродил, слагал свои поэмы.
Я многое забыл, запомнил только тему —
Украдена жена, все связано с любовью…
Там под конец волна подходит к изголовью,
Грохочет. Впрочем, нет, я путаю, похоже.
То был другой поэт. Его забыли тоже.

Вот на такой грустной ноте вынужден закончить свое выступление.

Валерий Попов: Но наш вечер продлит память об Ахматовой и, может быть, немножко о нас.

Александр Жуков: Ну, и еще раз спасибо всем, кто пришел сюда сегодня. В такой замечательный день. Вспоминаю прошлый год, когда был дождь, гроза, тучи, облака совершенно потрясающие. Очень сильное было впечатление, мы его запомнили. Сегодня по-другому, более радостно. И столько людей пришло. Хочется сказать спасибо.

А я хочу вспомнить давний эпизод. Замечательную историю, когда двое молодых красивых людей – брюнет и блондин такой веснушчатый – ехали в электричке в Комарово, чтобы поздравить замечательную старую даму с днем рождения. У брюнета был огромный букет бордовых, по-моему, роз, и он был спокоен, что ему не нужно ломать голову насчет подарка, а блондин усердно и торопливо дописывал стихотворение. А когда они приехали, это стихотворение и этот букет роз вошли в историю.

Песня на стихи Иосифа Бродского.

Закричат и захлопочут петухи,
Загрохочут по проспекту сапоги…

Вот такое стихотворение, которое, по-моему, Анна Андреевна оценила. Что она сказала, кстати говоря? Анатолий Генрихович? No comment?

Я: Ну, она просто выбрала из него строку на эпиграф к

«Последней розе» – «Вы напишете о нас наискосок». Она писала действительно наискосок – строчки загибались вверх от начала к концу.

Александр Жуков: Вот еще одна песня. Несколько песен споем, вспомним саму Анну Андреевну. Потрясающее, конечно, выступление было и Александра Моисеевича, и Юлия Кима. Удивительное такое настроение, такая погода. Но давайте и собственные ее песенки так называемые вспомним тоже. Ее стихи. У нее есть коротенькое стихотворение, она его написала в Слепневе. Гумилевская усадьба, где-то в 1917-м году. Ровно так же оно относится и к этому месту. Необычайный эффект. Вообще к любому, наверное, месту, где она была. Где оставила свой след.

Песня на слова стихотворения.

Там тень моя осталась и тоскует,
Все в той же синей комнате живет,
Гостей из города за полночь ждет
И образок эмалевый целует.
И в доме не совсем благополучно:
Зажгут огонь, а все-таки темно…
Не оттого ль хозяйке новой скучно,
Не оттого ль хозяин пьет вино
И слышит, как за тонкою стеною
Пришедший гость беседует со мною?

А это – известнейшее, тоже 17-го года и тоже слепневское… нет, петербургское, но того же времени. Я его как-то тут обсуждал с Валерой Поповым. Вдруг он говорит: да перестаньте, это все у нас. Двадцать первое, ночь, понедельник. Мы здесь костры и тогда жгли. А сейчас, я не знаю, сохранилась такая традиция, кстати говоря?.. Продолжена, совершенно верно.

Песня на слова стихотворения.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки

И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно,
И с тех пор все как будто больна.

Вот. И у Анны Андреевны такой постоянный маршрут: Петербург – Комарово, Комарово – Петербург. И Летний сад. Замечательное стихотворение, которое она написала.

Песня на слова стихотворения «Летний сад».

Я к розам хочу, в тот единственный сад…

Осип Эмильевич Мандельштам. Я думаю, это была не просто высокая преданная дружба, там была и влюбленность…

Песня на слова стихотворения Мандельштама с посвящением Ахматовой.

Как черный ангел на снегу,
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу —
Есть на тебе печать Господня.

Такая странная печать —
Как бы дарованная свыше —
Что, кажется – в церковной нише
Тебе назначено стоять.

Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты.

И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу причастных плоти,
Но не краснеющих ланит.

Ну, а сейчас я позволю себе не согласиться с Андреем

Георгиевичем Битовым относительно стихов «здесь все меня переживет», «Приморского сонета». Как-то он очень тоскливо это преподнес. А вот посмотрите налево, видите на стволе обруч от гамака. На какой высоте, где-то метров 5–6, наверное? Это гарантированно где-то ее время. Да собственно говоря, и вот этот скворечник, который пережил ее. Потому споем и эту песню.

Песня на слова «Приморского сонета».

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни…

Ну вот, на этом наше выступление заканчивается. Сейчас Паша Крючков – с некоторым сюрпризом, ошеломительным для всех нас.

Павел Крючков: Добрый вечер. Я подготовил маленькую программу – показать запись голоса Анны Ахматовой. Запись сделана в этом доме сотрудником Литмузея, покойным ныне Львом Шиловым. Ему же принадлежит честь выпуска и первой виниловой пластинки с голосом Ахматовой. Это было за пять лет до ее кончины в 1961 году. Благодаря этой записи, которую каждый из вас может услышать самостоятельно, потому что она многократно тиражировалась, существует записанное стихотворение «Мужество» – «Мы знаем, что ныне лежит на весах» и так далее – не только сразу очень высоко оцененное читателями, но и, словно бы в противовес официальному пафосу убийственных обличений, многократно поставленное ей в заслугу властью.

Я хочу, чтобы сегодня мы начали со стихотворения, в подзаголовке которого название этого места. Это – «Нас четверо» из цикла «Венок мертвым». Мне будет помогать Евгений, он взял на себя труд менять пластинки. Оно открывается тремя эпиграфами, строками, которые адресовали Ахматовой три прекрасных поэта.

Нас четверо

Комаровские кроки

Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены.

Осип Мандельштам

Таким я вижу облик Ваш и взгляд.

Борис Пастернак

О, Муза Плача…

Марина Цветаева

…И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем места сего
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины…
Это – письмо от Марины.

Перед каждым из поэтов «великой четверки», за исключением, я думаю, Цветаевой, оказывалось записывающее устройство. И если сложить все записи Мандельштама, которые сохранились, – это десять записей, сделанных Сергеем Игнатьевичем Бернштейном. Все записи Бориса Пастернака, которые сохранились только начиная с послевоенного времени, – это будет примерно половина вот такого стандартного компакт-диска. А голоса Марины Цветаевой нет. Я практически уверен, что его нет, существует миф о каком-то звуковом письме; периодически коллекционеры находили якобы голос Цветаевой, и всякий раз оказывалось, что это актрисы, читающие ее стихи. С голосом Ахматовой нам очень повезло. Если собрать все ее записи, которые хранятся в частных и государственных архивах, изданные и неизданные, включая записи, сделанные за чайным столом, это будет примерно десять часов.

Сейчас мы услышим – записи будут разного качества – одну запись, которая, очевидно, публично никогда не звучала. К ней

даже слово «качество» неприменимо, она была сделана в 1920 году. Поразительно, что Ахматова в продолжение жизни сохранила ту интонацию, с которой она в тот день читала. Она пришла на запись с Гумилевым, точнее он ее привел. И она прочитала несколько стихотворений, в том числе и это. Я сейчас должен буду, простите меня за это, прочитать этот текст сам, потом мы услышим эту запись, тоже не простым образом. Эти стихи, в том виде, в каком я сейчас их прочитаю, были опубликованы только один раз, в газете, которая называется «Воля народа», в 1917 году. Потом, в книжке «Подорожник» и в последующих публикациях, они печатались только финальной своей частью.

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее,—

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Эти стихи связаны с именем Бориса Анрепа, который покинул Россию в те годы, и тех, кому интересно было бы прочитать об этом стихотворении, я с удовольствием отсылаю к роману Анатолия Наймана «Поэзия и неправда», где, на мой вкус, содержится замечательный анализ этого стихотворения с отсылкой к книге пророка Исайи. Сейчас мы услышим запись

части этого стихотворения, сделанной в последние годы жизни Ахматовой.

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

«…»

Ну вот, а сейчас вы услышите эхо голоса человека. Назвать это записью в полном смысле слова трудно, голос записывался на восковые валики, и потом, спустя десятилетия, эти валики уже практически отполированные; из них нужно было вынуть этот голос. С Ахматовой это получилось, с Блоком просто не получалось десятилетиями, но потом наконец получилось тоже. Поэтому, пожалуйста, не у всех есть опыт, да, но это вот голос Ахматовой из 1920 года. Это стихотворение, и обратите внимание, она его читает от начала и до конца так, как оно было опубликовано в семнадцатом году.

Она прочитала в тот день три стихотворения: «Перо задело за верх экипажа», «Прогулку», и договорились, что она придет еще и запишется, но этого не случилось. Гумилев два раза записался. Когда Шилов, о котором я говорил, приехал сюда, в Комарово, в мае 65-го года записывать Ахматову, ему не хотелось ехать к ней с пустыми руками, ему хотелось, чтобы был какой-то предлог для разговора. И когда он договаривался с Ахматовой, он сказал: «Я привезу Вам Ваш голос, записанный в молодые годы». И он привез эту запись, которую вы сейчас услышите, и Ахматова взяла наушник, старшее поколение знает, что такое наушник, старый тот наушник, и поднесла к уху и стала слушать. И в это время Шилов сделал фотографию, она опубликована. Запись не произвела на Ахматову впечатления, то есть, может, и произвела, но она ничего не сказала.

Когда в тоске самоубийства.

«…»

Ну, и закончим вот чем. Несколько раз сегодня звучало имя Пушкина – закончим стихотворением из первой книги Ахматовой,

из сборника «Вечер». В ее исполнении. Эти стихи широко известны, это из триптиха «Царское село».

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

После чего полились потоки взаимных «спасиб» – выступавших и слушавших, квартиросъемщика Будки и комаровского мэра в окружении депутатов, Жукова и всех участников поименно, а также публики в целом.

Этот приезд в Комарово, помимо самостоятельного содержания и значения, был еще вписан, вставлен в съемки документального фильма об Ахматовой. На участке находилось несколько человек, демонстрировавших образцы деликатного поведения, хотя и оснащенных камерами, спецосвещением, проводами, отражателями. Я в этом фильме именовался автором, на деле же был единственным действующим лицом. Я или мой голос почти все время были в кадре, я говорил о героине фильма что-то необходимо осведомляющее, вспоминал о ней то и это, по большей части уже опубликованное мной в «Рассказах о Анне Ахматовой», непосредственно реагировал на обстоятельства съемок, задаваемые мне вопросы, сопутствующие ассоциации. Продюсером был Александр Жуков, режиссером Хельга Ольшванг. Работа началась еще в Москве, продолжалась потом с перерывами все лето. (Премьеры фильма прошли в Москве, Ташкенте, Нью-Йорке.)

Понятно, что я пребывал в состоянии вынужденного этими обстоятельствами, иногда бессознательного, но чаще сосредоточенного подведения итогов той поры моей молодости, когда я виделся с Ахматовой. Тех лет, когда в начале знакомства мы встречались от случая к случаю, а позднее, особенно когда она попросила меня по чуть-чуть помогать ей в качестве литературного секретаря, а затем и «солидарно», как было сказано в издательском договоре, переводить лирику Леопарди, и до ее смерти – постоянно. Это вглядывание в прошлое распространилось и на день нашего в тот год приезда в Комарово.

С несколькими из выступавших я был знаком с 18–19 лет, с Городницким, Битовым, Поповым. Не то чтобы мы тогда дружили, но, что называется, отношения были дружеские. Компания у нас четверых (перечисленных тем же Поповым) была своя, но более широкий круг – начинающих, новых, входивших в поэзию и литературу – общий.

Ко времени этой нашей сходки у всех ее участников давно сложились репутации, так что, к примеру, я наперед знал, что Битов будет говорить, что он не поклонник Ахматовой и художественно, а может, и морально ей противостоит. Но то, что он верен себе молодому и мы оба молодому Горбовскому, располагало меня к нему, не сообразуясь с тем, поклонник я его или нет. Я, со своей стороны, был верен собственному принципу, подхваченному мной тоже в молодые годы на ипподроме, где в ходу было присловье «порядок бьет класс». То есть лошадь более слабая, но хорошо подготовленная именно на сегодняшний заезд, может выиграть у сильнейшей. Со временем эти слова преобразовались у меня в «давность бьет содержание» – то есть заодно ты был когда-то с человеком или расходился с ним в оценках людей и событий, сам факт вашего знания друг друга в продолжение долгого срока становится важней тогдашнего заединства или расхождений.

Больше того, совместное хотя бы и не отмечавшееся ни умом, ни чувствами состаривание растворяло, если какое и сохранялось, противоречие, добавляло минувшему теплоты, умиляло. На пути из Москвы мы с Городницким оказались в одном купе, и его первые слова своей неожиданностью произвели на меня впечатление. Он спросил, не взял ли я случайно с собой аппарата Рива Роччи. Измеряющего артериальное давление. А то он чувствует, что у него повышенное, но свой не захватил. Я не был настолько продвинут. Он сказал, что попробует определить огрубленные показатели, и обхватил запястье левой руки пальцами правой. В этот момент в купе зашел Жуков с бутылкой «Реми Мартен». Она должна была скрасить нам ночь. Жуков сказал, что занес такую же Киму, но тот мрачно отказался: он только что перенес обширный инфаркт, израильская медицина его еле вытащила, и он ни-ни. Минуты через три появился Ким и в недоумении, смешанном с неодобрением, спросил: «Так вы где? Я же вас жду». Мы перешли в его купе, и последствия инфаркта, так же как возможной гипертонической атаки, были сняты коньячным домом «Реми Мартена».

Я вспомнил эти малозначащие эпизоды и привел их здесь в надежде передать неформальность взаимоотношений внутри группки тех, кто выходил в Комарове на сцену. То, что площадка,

с которой они выступали, сколько-то возвышалась над сидевшими внизу и тем самым одних от других отделяла, легко могло превратить происходящее в «концерт», в что-то производимое на публику и так публикой и воспринимаемое. А наша цель была только посильное участие в дне рождения Ахматовой, какое ни есть приношение ей. Главное что не официальное – и с дощатой платформы, и с земли. Par terre по-французски.

2008

Много лет тому назад я прочитал фразу, сказанную джазменом, трубачом, певцом, легендой джаза Луи Армстронгом: «Сперва я думал, что людям нужна песня, но скоро понял, что им нужен спектакль». Я привел эти слова в «Рассказах о Анне Ахматовой» в связи с ее оценкой одного обсуждавшегося в нашем с ней разговоре стихотворения – «в этих стихах есть песня». Песня как одно из непременных и непреложных свойств поэзии. Но сейчас противопоставление песни спектаклю пришло на ум потому, что я вспомнил, как читала стихи Ахматова. А вспомнил потому, что на всех наших комаровских встречах, приуроченных к дню ее рождения, чтение стихов было центральным пунктом, занимало времени больше, чем все прочее, звучало ожидаемо и органично.

В одной из книг Надежды Мандельштам есть глава под названием «Два полюса». В ней автор упрекает Ахматову в том, что она предлагает образ «поэта на сцене». Имеется в виду стихотворение «Читатель». Действительно, утверждение Осипа Мандельштама об актере как «профессии, противоположной» поэту всецело разделялось Ахматовой. «Эстрадничество» 1950–1960-х годов неизменно вызывало у нее порицание, слово «эстрадник» носило пренебрежительный оттенок. И тем не менее в «Читателе», датированном 1959 годом, изображен именно поэт-актер:

Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным. О нет!
Чтоб быть собеседнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело.

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.

Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят.

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной…
Там исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен,
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Этот образ как будто противоречит и самим основам ее поэтического кредо, таким как «без тайны нет стихов», «поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять», – и вообще тому трагическому автопортрету поэта, который возникает из ее стихов. В «Читателе» декларируется сначала, что для того, чтобы быть *понятным* (понравиться) современникам, все равно «черни» или «элите», – просто «современникам», поэт чего-то *не должен*. Но углубленное прочтение текста, скрытые в стихах цитаты и указания снимают противоречие *поэт/актер*, если усмотреть в нем, например, Шекспира. В первую очередь – Шекспира. Или другое воплощение того же образа – Пастернака-Гамлета.

Или… и это – может быть, самое непредвиденное из открытий, посетивших меня за полстолетие со дня смерти Ахматовой: образ ее самой, застывшей фигуры посредине пустой сцены, читающей свои стихи в бездну тонущего в темноте зала. Переводящей поэзию из состояния более позднего на часах цивилизации, письменного, в первоначальное – звука голоса. Фигуры, стоящей не прямо против невидимых слушателей, а под небольшим углом к ним. Это знак отчужденности поэзии – хотя и присущей миру и сродной ему, но помнящей о своем нездешнем источнике. И другой отчужденности – о которой скажу в своем месте.

У Мандельштама времен «Камня» есть стихотворение:

Вполоборота, о печаль,

На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос – горький хмель —
Души распахивает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

В «Листках из дневника» Ахматова передает обстоятельства его возникновения. Дело было в «Бродячей собаке». «Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали», и еще что-то про шаль…». Она называет это восьмистишие «наброском с натуры». Ей было тогда двадцать четыре года. Я познакомился с ней, когда ей исполнилось семьдесят. В «Рассказах» я описал впечатление, которое она тогда произвела на меня. «Она была ошеломительно – скажу неловкое, но наиболее подходящее слово – грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. <…> Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную – мгновениями казалось, высеченную, – классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно, шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской ваятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной, соединившись с записью Ахматовой о Модильяни, считавшем, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях». Повторю, что в другом месте мы еще вернемся к этому впечатлению.

Людей пришло опять много, пожалуй, больше, чем в прошлом году. Я начал с трех коротких сообщений. Что с нынешнего года эти вечера, если они продолжатся, а мы думаем, что они продолжатся, будет вести Павел Крючков. (Я знал, почему открывал и вел самый первый наш съезд – обозначить преемственность задуманной затеи от того, что здесь было при жизни Ахматовой. И зачем вел следующий – по возможности, закрепить тон и натяжение струны. Это – не говоря о личных отношениях и желании поддержать Жукова. Но в мои планы не входило закреплять за собой должность как постоянную… Забегая вперед, скажу, что мое объявление не привело к заметным переменам: вести программы, улаживать и направлять стал

Крючков, но я по привычке нет-нет и вмешивался.)

Затем я предупредил, что от встречи к встрече состав специально приглашенных гостей будет меняться: в этом году ими будут Белла Ахмадулина и ее муж художник Борис Мессерер, а также актер, поэт, режиссер Владимир Рецептер.

И наконец – что открыть сегодняшний вечер я собираюсь разговором уже непосредственно об Ахматовой, а именно, о ее стихотворении «Мужество». О нем здесь несколько раз заходил разговор в прошлом году, словно бы обещая какое-то прямое обсуждение, но дело до этого так и не дошло.

«Публикация этого стихотворения в 1942 году в газете «Правда», помимо главного впечатления – редких по силе и чистоте слов клятвенного признания в преданности родному языку и тем самым родине, оставляло в сознании читателей еще что-то вроде ощущения неожиданной, пусть легкой, но непривычности, где-то на грани чуть ли не с растерянностью. Репутация поэта как представителя ушедших эпохи и культуры, враждебных революции и новой идеологии, – и репутация газеты, агрессивно выражавшей установки времени, сменившего их, не вполне совмещались в понимании людей, читавших эти строки. Стихотворение говорило о Великой Отечественной войне, это было бесспорно: «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне…». Но странно говорило. Сегодня эти слова прозвучат не единожды, у нас будет время постараться проникнуть в них. И мне хотелось бы, чтобы вы, может быть, не с первого раза услышали их настоящее содержание. Потому что, когда Ахматова делает признание: «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь», – то, если воспринимать эти стихи только в аспекте войны, трудно избавиться от недоумения. Разговор об уничтожении русской речи никогда не шел, такой сюжет не вставал. И вообще, когда Ахматова употребляет слово «мы», это, прежде всего, какой-то узкий круг. Как в стихотворении «Родная земля», когда, произнося: «Но мы мелем и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах», – она словами «месим» и «крошим» выдает, кто эти «мы». Она преподносит нам знаменитые строчки Мандельштама «Аравийское месиво, крошево» из «Стихов о неизвестном солдате». То есть «мы» – это «родная земля», это наш акмеизм.

Ведущий Павел Крючков

Точно так же и в «Мужестве». Война началась в обстановке государственного террора, продолжавшегося третье десятилетие. Поэтому уже «не страшно под пулями мертвыми лечь» – как Гумилев, расстрелянный в 1921 году. «Не горько остаться без крова» – как все брошенные в лагеря, забранные из своих семей, из своих домов – как тот же Мандельштам. Стилистика этих

стихов – стилистика «Реквиема», а не военно-патриотическая. Хотелось бы, чтобы мы вместе, в конце концов, в этом стихотворении услышали *это* содержание. «Мужество» обращено не столько к врагу, к немцам, сколько к нам самим.

Вот и все. А теперь слово ведущему, Павлу Крючкову».

Павел Крючков: Добрый вечер. Ну, и разрешите немножко истории. (Далее – для не присутствовавших на первой встрече и на второй – следует рассказ о Будке, требовавшей ремонта; о Жукове, который его осуществил; о программе первого вечера, грозе и дожде, которые ее сопровождали; и программе второго с певшимися на нем песнями. В заключение – краткое описание намеченного на сегодня.)

Я потому это все рассказываю, что сама собой складывается какая-то традиция, возникает история какая-то. Мы стали общаться просто и с комаровцами. И мэр Комарова во всем этом тоже стал принимать участие, и фонд «Келломяки-Комарово».

Сейчас я сердечно попрошу Сашу, помощника, включить запись. Только перед тем как он это сделает, я хочу сообщить вам, что этой записи сопутствуют разнообразные примечательности вроде календарных совпадений. Начнем с того, что сегодня годовщина начала войны, сегодня 22 июня, а эта единственная запись этого стихотворения была сделана вот в этом домике 9 мая 1965 года, в День Победы. Сюда приехал в тот день московский литературовед-звукоархивист, я уже упоминал об этом. Ахматова прочитала ему на магнитофон несколько стихотворений и отрывки из «Реквиема». Потом, когда ее не стало, оказалось, что только он и записал это знаменитое и хрестоматийное стихотворение «Мужество».

Голос Ахматовой: «Я читаю эти стихи 9 мая 1965 года в Комарове.

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!»

Павел Крючков: Ну, вот, а теперь я прошу выйти Беллу Ахмадулину.

Белла Ахмадулина: Я нежно и почтительно приветствую всех, кто собрался в этом месте, чтобы еще раз вспомнить, почтить Анну Андреевну Ахматову. Моя задача довольно скромна. Я хочу прочесть просто несколько стихотворений, посвященных Анне Андреевне. У меня есть такие, которые, может быть, лучше. Посвященные Мандельштаму, Блоку и всем, кто как-то был связан с Анной Андреевной во времени, страданиях, и вот тем, с которыми она и собиралась спасти русское слово – и все-таки спасла. Я возьмусь для смелости прочесть для начала стихотворение Анны Андреевны, написанное здесь. Дело в том, что вот мы все слышали ее величественный, такой многозначительный, такой влиятельный голос. Я когда-то услышала, это и была, может быть, запись Льва Шилова, благородного очень господина. Не знаю, это была такая маленькая-маленькая пластинка. Я слышала, как Анна Андреевна читает стихотворение «Приморский сонет», и строчку из этого стихотворения «Дорога не скажу, куда» я взяла эпиграфом к своему стихотворению, совсем короткому. А это, ну просто в честь этого места, в честь этого ветхого трогательного ранящего дома. Ну, вот это стихотворение Ахматовой «Приморский сонет».

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни…

Анна Ахматова

Мое стихотворение короткое, называется *«Строка».*

Пластинки глупенькое чудо,
Проигрыватель – вздор какой,
И вдруг, неведомо откуда,
Из недр стесненных, из-под спуда
Корней, сопревших трав и хвой,
Нет, глубже мыслимых глубин,
Из пекла, где пекут рубин,
Донесся, близится, и вот,
Раздался бас земли и вод,

Которым молвлено протяжно,
Как будто вовсе без труда,
Так легкомысленно, так важно:
«…Дорога не скажу куда…»
Меж нами так не говорят,
Нет у людей такого знанья,
Ни вымыслом, ни наугад
Не подберешь тому названья,
Что мы, в невежестве своем,
Строкой бессмертной назовем.

Белла Ахмадулина читает стихи

А это еще одно, старое довольно посвящение.

Я завидую ей – молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —

нарушенье черты и предела
и востока незваная власть,
так – на северный край чистотела
вдруг – персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной —
лишь однажды взглянула с усмешкой —
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать – посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей – меж корней,
нищей пленнице рая иль ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

…Стихотворение называется «Снимок», подарен он мне был в Петербурге. А дарителю этот снимок подарила Анна Андреевна Ахматова в Италии, в Оспедалетти, в апреле 1912 года. И там был ее автограф. «Апрель 12-го года. Оспедалетти. Анна Ахматова».

Снимок

Улыбкой юности и славы
лишь припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

С тем – через «ять» – сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,

вовек сохранный в сгустке света.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лике
прочесть известие о даре
так просто, как названье книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и челку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами, как угодно!
и выведет: Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: «Анна
Ахматова», – и капнет точку.

И напоследок, пожалуй, такое стихотворение… В нем легко узнаваемый силуэт города и тени тех, великих, великих людей, память о которых так нас утешает, награждает, тревожит. Там легко, не названы по именам, но легко узнать по некоторым приметам – кто это. Если Воронеж, который посмел проведать прекрасную даму, понятно, что это Мандельштам и строчки Ахматовой: «По хрусталям я прохожу несмело». А дальше в воздухе этого города достаточно, достаточно, несмотря на все его и невзгоды, и все, что с ним происходит. В этом воздухе навсегда достанет места для дыхания тех, о ком мы не перестаем думать. Вот такое:

Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях.
Тот пробел, где была, все собой обволок.
Этот бледный, как обморок, выдумка-город —
не изделье Петрово, а бредни болот.

Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела
ускользнул из гранитной своей чешуи?
Это – бегство души из обузного тела
вдоль воздетых мостов, вдоль колонн тишины.

Если нет его рядом – мне ведомо, где он.
Это он на свидание с теми спешит,
чьим дыханием весь его воздух содеян,
чей удел многоскорбен, а гений смешлив.

Он без них – убиенного рыцаря латы.
Просто благовоспитан, не то бы давно
бросил оземь все то, что подъемлют атланты,
и зарю заодно, чтобы стало темно.

Он всегда только их оставался владеньем,
к нам был холодно замкнут иль вовсе не знал.
Раболепно музейные туфли наденем,
но учтивый хозяин нас в гости не звал.

Ну, а те, что званы и желанны, лишь ныне
соберутся. Отверстая арка их ждет.
Вот уж в сборе они и в тревоге: меж ними
нет кого-то. Он позже придет, но придет.

Если ж нет – это белые ночи всего лишь,
штучки близкого севера, блажь выпускниц.
Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж,
где ни спишь – из отлучки твоей отпросись.

Как он юн! И вернули ему телефоны,
обожанья, признанья и дружбы свои.
Столь беспечному – свидеться будет легко ли
с той, посмевшей проведать его хрустали?

Что проведать? Предчувствие медлит с ответом.
Пусть стоят на мосту бесконечного дня,
где не вовсе потупилась пред человеком,
хоть четырежды сломлена воля коня.

Все сошлись. Совпаденье счастливое длится:
каждый молод, наряден, любим, знаменит.
Но зачем так печальны их чудные лица?
Миновало давно то, что им предстоит.

Всяк из них бесподобен. Но кто так подробно
черной оспой извел в наших скудных чертах
робкий знак подражанья, попытку подобья,
чтоб остаток лица было страшно читать?

Все же сто́ит вчитаться в безбуквие книги.
Ее тайнопись кто-то не дочиста стер.
И дрожат над умом обездоленным нимбы,
и не вырван из глаз человеческий взор.

Это – те, чтобы нас упасти от безумья,
не промолвили слово, не подняли глаз.
Одинокие их силуэты связуя,
то ли мысль, то ли страсть, то ли чайка неслась.

Вот один, вот другой размыкается скрежет.
Им пора уходить. Мы останемся здесь.
Кто так смел, что мосты эти надвое режет —
для удобства судов, для разрыва сердец.

Этот город, к высокой допущенный встрече,
не сумел ее снесть и помешан вполне,
словно тот, чьи больные и дерзкие речи
снизошел покарать властелин на коне.

Что же городу делать? Очнулся – и строен,
сострадания просит, а делает вид,
что спокоен и лишь восхищенья достоин.
Но с такою осанкою – он устоит.

Чужестранец, ревнитель пера и блокнота,
записал о дворце, что прекрасен дворец.
Утаим от него, что заботливый кто-то
драгоценность унес и оставил ларец.

Жизнь – живей и понятней, чем вечная слава.
Огибая величье, туда побреду,
где в пруду, на окраине Летнего сада,
рыба важно живет у детей на виду.

Милый город, какая огромная рыба!
Подплыла и глядит, а зеваки ушли.
Не грусти! Не отсутствует то, что незримо.

Ты и есть достоверность бессмертья души.

Но как странно взглянул на меня незнакомец!
Несомненно: он видел, что было в ночи,
наглядеться не мог, ненаглядность запомнил —
и усвоил… Но город мне шепчет: молчи!

Ну, вот так. Благодарю Вас.

Павел Крючков: Ну, вот я вспоминал эти два прошедших года, когда все нынешнее, сегодняшнее начиналось. А в голове держал, что мне предстоит представить вам людей, – а выйдет еще немало людей… Я подумал, вот интересно, замечательный прозаик Валерий Попов, житель этого дома ныне, вот интересно – мог бы он себе представить, что здесь произойдет? Я прошу Валерия Попова подойти сюда, пожалуйста, и сказать два слова.

(Эти «два слова», несмотря на то что они очень похожи на те, какие Попов произносил год назад, я решил не изымать из записи того, что говорилось, как раз по причине их повторяемости и тождественности. Они звучат, как тост на дне рождения – проверенный, нравящийся гостям и при этом идеально уместный. Да и многое звучит так, когда встречаются люди сколько-то знакомые и говорят на знакомую тему. А Валерий Попов к тому же делает это живо и умно, хотя как бы не до конца серьезно.)
Валерий Попов: Ну, как временный жилец этого дома, я могу сказать, что по-прежнему здесь все подчинено власти Анны Андреевны Ахматовой. И вот этот праздник тоже появился благодаря ее воле, потому что, когда эта Будка разрушалась, когда крыльцо провалилось и нельзя было войти, я оказался в поиске возле ее могилы и, как по волшебству, появился из-за ограды один из ее знаменитых сирот, Дмитрий Бобышев, с ним рядом шел тогда еще незнакомый мне Александр Жуков. Мы оказались здесь, и вот Будка возродилась. И благодаря этому дух ее обрел такую вот оболочку и царит здесь, как и всегда царил, и вся вселенная комаровская, она вся под ней, все только для нее. Когда вот несколько раз пытались починить эту будку до Александра Петровича Жукова, один плотник здесь стучал, стучал, что-то делал, делал, потом я случайно встретил его в буфете около станции, он говорил, я сейчас работаю у Ахматовой, выматываюсь страшно. То есть все под ней, все подчинено ей, все думы о ней. И даже, когда, как вы знаете, этой зимой обокрали Будку, то и это как-то получилось к славе Анны Андреевны.

Потому что телевидение, которое здесь появилось, заявляло вдруг, что нашли какую-то книгу Ахматовой, то лампу Ахматовой, то нашли градусник Ахматовой, то есть как всегда, беды, невзгоды, перемолоты были в ее славу. То есть она по-прежнему царица здесь, а мы ее рабы и с радостью служим ей. Спасибо ей еще раз.

Павел Крючков: Валерий Попов сказал как раз о мифологии, я сейчас к этому и приведу. Вот, знаете, по дороге сюда сообразил, что это не из любви к цифрам, а просто как-то так само проявилось, – что опера английского композитора эпохи барокко Генри Перселла «Дидона и Эней» была написана ровно, просто, что называется, день в день, я заглянул в интернет, ровно за 200 лет до рождения Ахматовой. Эта опера, ну и эта тема, и эта героиня разными путями и на разных временны́х промежутках удивительно и трагично вписаны в литературную и в человеческую судьбу Ахматовой. Сюжет об этой карфагенской царице, которую ради завоевания Трои будущий основатель Рима покинул, и она взошла на костер, – он к Перселлу пришел из четвертой книжки «Энеиды» Вергилия. Но обрабатывалась эта тема и многократно преображалась она и в музыке множество раз, и в литературе. В частности, через биографию Ахматовой вошла как центральный миф в ее поэзию. Дидона перечислена среди других зеркальных ее двойников в «Последней розе» (стихотворении, которому предпослан эпиграф из Бродского «Вы напишите о нас наискосок»): «Мне с Морозовою класть поклоны, / С падчерицей Ирода плясать, / С дымом улетать с костра Дидоны, / Чтобы с Жанной на костер опять».

Я все это рассказываю не чтобы повторить лишний раз в этой аудитории, а непосредственно в тему нашей здесь встречи, потому что имя Дидоны прежде всего в моем читательском сознании и, насколько я могу судить, в ахматоведении, в науке напрямую связано с понятием жертвенности, так я это чувствую. Я еще забыл сказать, это важно: эта опера Перселла, пластинка с записью этой оперы, занимала заметное место в жизни Ахматовой. Она неоднократно появляется и в воспоминаниях, и сама чуть ли не частью мифа стала. Ахматова любила эту оперу, и неслучайно, что сегодня здесь будут звучать ее фрагменты. Вот такая прелюдия к тому, что я должен представить людей, которые будут эти фрагменты исполнять. Я просто прочту состав вокальной группы «Dedooks», а Всеволод Силкин, ее художественный руководитель, надеюсь, прибавит необходимые подробности. Итак, солисты: Оксана Горбоновская, Татьяна Антоновская, Надежда Игнатьева, Анна Краус, Сергей Величкин,

Игорь Конокпаев, Всеволод Силкин, концерт- мейстер Мария Столярова и организатор всего этого дела здесь Дмитрий Дедух. Прошу вас, пожалуйста, сюда на сцену. Вокальная группа «Dedooks».

Всеволод Силкин: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, хотелось бы сказать два-три предварительных слова. Мы исполним для вас хоры из оперы «Дидона и Эней». Это музыкальное произведение было одним из любимейших Анны Андреевны, и сегодня в дань памяти мы исполним несколько номеров оперы.

Ансамбль «Dedooks»: исполняются арии, дуэты, хоры из оперы.

С вашего позволения, мы споем еще два произведения: первое – Виссарион Шебалин, «Зимняя дорога», слова Александра Сергеевича Пушкина.

Белорусская народная песня «Купалинка», аранжировка Атрашкевич.

Павел Крючков: Когда звучала прощальная ария Дидоны «Remember me», я думал о том, что само это выражение стало паролем, оно вошло как такой код – «помни меня». Если угодно, в ответ на него мы сейчас послушаем три архивные аудиозаписи, такие короткие монологи, или каким-то другим словом, может быть, это следует назвать, в общем, три таких сюжета, трех современников Ахматовой, людей, принадлежащих к совершенно разным поколениям. Один родился в начале 80-х годов девятнадцатого века, другой в 1918 году, третий – это уже совсем для нее молодое поколение. Но сквозь все три записи, которые вы услышите, звучит, я думаю, это самое «вспомнить». Каждая длится по две с небольшим минуты.

Помогать мне будет Александр, звукорежиссер. И, наверное, можно было бы каждую запись и каждую личность сопроводить цитатами из воспоминаний, дневников, но все трое прекрасно всем известны, и я ничего такого делать не буду. Может быть, крохотный комментарий.

Первая запись была сделана в Петербурге после того, как Александр Солженицын смог вернуться в Россию. Беседа была камерная, и, в частности, разговор шел об Ахматовой. Записал его ленинградский замечательный литературовед Леонид Дубшан. И в конце этой записи, которую мы услышим, обратите внимание: интервьюер задает вопрос, он спрашивает: «А содержание бесед с

Ахматовой?» И Солженицын ему нечто отвечает. Солженицын, которому в этом году исполнится 90 лет, говорит о двух первых встречах.

Александр Солженицын.

У нас с Анной Андреевной было четыре встречи. Первая встреча сразу после «Ивана Денисовича», только-только напечатали его. И я приехал на Хорошевское шоссе, у Марии Петровых она жила там в квартире, и мы с ней вдвоем разговаривали. И меня все тогда спрашивали, что у вас есть еще, а я помалкивал, что у меня есть еще, потому что как будто вообще ничего. А разве так может быть, что это первая проба пера, вообще так все говорили. Ну, Анне Андреевне я дал понять, что немножко, знаете, что-то написано, чего-то коснулось, каких-то лагерных проблем. Я говорю, да не беспокойтесь, Анна Андреевна, это все будет. А потом я просто прочел ей свое стихотворение. Так сложилось, я приехал в ссылку 3 марта 1953 года. Первую ночь нас из НКВД и не выпускали, мы во дворе НКВД находились, а 4 марта 53-го сказали: «Ну идите по домам, так и быть, недалеко поместитесь». Я пошел к какой-то старушке там ссыльной, и она меня приютила. Я лег и сплю. Утром 5 марта она меня толкает, будит: «Слушай, иди, иди радио слушай, что там такое случилось?» Иду, а там смерть Сталина объявляют. Боже, думаю, совпадение. И я в тот же день написал стихотворение. Ну, вот, я, значит, Анне Андреевне раз прочел это стихотворение, она потом сказала: «Да, Сталин все-таки нас с вами пропустил». Мы с ней изрядно поговорили, она очень много говорила о нашей встрече. А потом в Москве, она наездами и я наездами, так что сейчас трудно расставить по времени. Я помню, что в квартире Глен она очень меня пригласила приехать, она лежала на диване, нездорова была. Не вставала. Книги, соответственно, мы дарили, она подарила мне свое белое издание. У нее же было черное и белое издание, вот этого однотомничка, белых было очень мало, вот она подарила мне белое, написала: «Солженицыну в дни его славы». Вы понимаете, что скоро больница. Ну, почему не понимаю? Твардовский говорил: «Ну, у нас с вами сейчас несколько лет есть». Я говорю: «Лет? Александр Трифонович, если месяц есть, то хорошо». «Вы ничего не понимаете. Вы на такой орбите, да сейчас вас никто не тронет». Ровно через месяц начали меня гнобить, через месяц. Ну, это я все понимал прекрасно. Так вот, значит, тогда она говорит: «А вы любите Булгакова?» Я говорю: «Очень люблю, ужасно, сердечно». «А хотите я вас со вдовой познакомлю?» «Что вы? Вдова здесь?» «Да». Она звонит по телефону, связывает меня с

Еленой Сергеевной, и так я через несколько дней был у Елены Сергеевны. А так я бы и не знал, когда б ее нашел. Мы потом очень дружили с Еленой Сергеевной. Я всего Булгакова ненапечатанного у нее читал, ну, у нас была большая дружба потом долгое время.

Леонид Дубшан: А содержание бесед сохранилось?

Александр Солженицын: Нет, не буду, это описано у меня, может быть когда-нибудь и будет.

Павел Крючков: Теперь следующая запись человека, который уж во всяком случае из этих троих дольше остальных знал Анну Ахматову. Они познакомились в 1912 году, кстати, здесь рядом, в Куоккале, то есть в Репине. Корней Чуковский, тогда литературный критик, и Ахматова, которая приехала с Гумилевым. Кажется, в 1913 году, Ахматова писала Гумилеву в письме… я только перескажу, я не помню цитату. Она пишет: мне тревожно, что Чуковский, я слышала, хочет свою статью об акмеистах превратить в лекцию. Что будет? Потом, в 21-м году, в журнале «Дом искусств» легендарном, вышла статья знаменитая «Две России: Ахматова и Маяковский». Потом шли годы, и близко к юбилею Ахматовой, это 64-й получается год, Корней Чуковский написал несколько страничек о «Поэме без героя». Он вообще готовил предисловие к книге «Избранных стихотворений» Ахматовой. Книга не вышла. В том, что он написал о ней, судя по свидетельствам, воспоминаниям, ей была очень важна там мысль об ее историческом зрении, так, во всяком случае, по книгам. Но она откликнулась тепло очень, прислала телеграмму, письмо, оно сохранилось, и спросила Лидию Чуковскую, почему критики пишут как пишут, а Чуковский пишет так, громко. Почему ему удается писать громко? Лидия Корнеевна сказала, потому что он пишет вслух. Это к нашей звукозаписи, так сказать. То, что вы сейчас услышите, звучало по радио. Корней Иванович пишет в дневнике: пришло очень много писем. Мои сбивчивые слова об Ахматовой люди как-то подхватили, и они их окрылили. Ну вот, собственно, и все. Этот фрагмент сейчас будет – выступление Чуковского по радио. И обратите внимание, будет слышно – какое стихотворение и как он его читает здесь. Я выбрал два момента в этой записи.

Корней Чуковский.

Когда появились ее первые книжки, меня, я помню, больше всего поразила четкость ее поэтической речи, конкретность,

осязаемость всех ее зорко подмеченных, искусно очерченных образов. Образы у нее были незатейливые, очень простые, но в том-то и сила ее чудотворного мастерства, что все свои образы она всегда подчиняла могучему дыханию лирики. Историческое чувство у нее необыкновенно остро. О чем бы она ни писала, всегда в ее стихах ощущается упорная дума об исторических судьбах страны, с которой она связана всеми корнями своего существа. Ей не нужно было ничего забывать, ни от чего отрекаться, ни преодолевать в себе никаких чужеродных привычек, чтобы во время войны, в самое мрачное время кровавого разгула врагов, сказать с обычным своим лаконизмом бодрые и вдохновляющие слова.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Но я чувствую как бледно и немощно мое сегодняшнее торопливое слово о ней, а мне хотелось бы собрать всю сердечность и нежность, на какую я только способен, чтобы приветствовать ее в этот радостный день.

Павел Крючков: Ну, вот это было как раз в дни юбилея ахматовского. И последняя запись, в отличие от двух предыдущих, человека, которого все прекрасно знают – это поэт Иосиф Бродский: он здесь бывал. Скажу только, что сделана эта запись в 1992 году для шведского фильма, который почти никто не видел, называется «Поэт о поэтах». И Бродский говорит там о, соответственно, Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке и об Ахматовой. Тоже выбран кусочек небольшой, и обратите еще внимание, он начинает как будто из середины, просто он там говорил, о том, как он оказался в Комарове, как впервые поехал сюда.

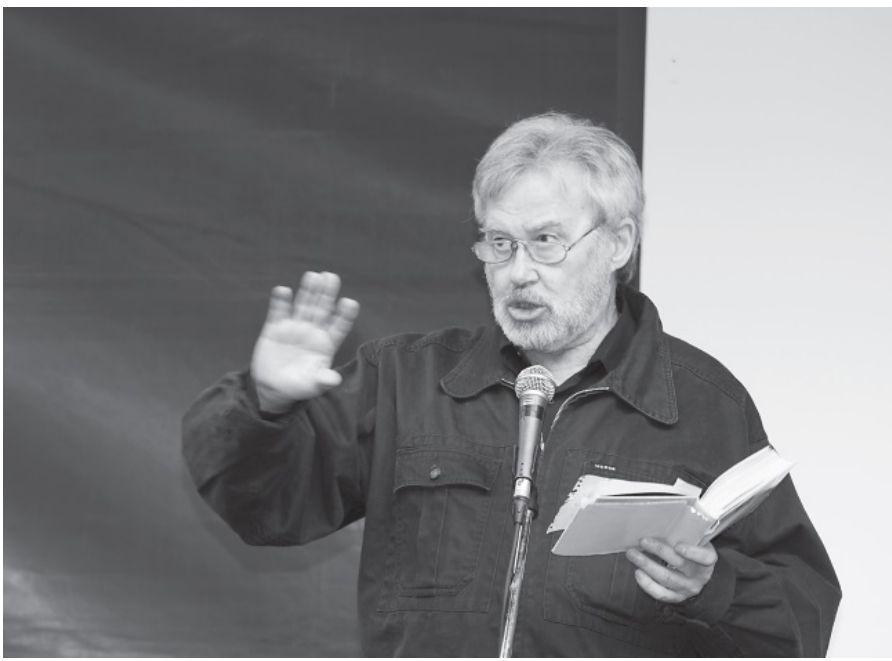
Иосиф Бродский.
Для меня это было – вот то, что Ахматова жива – это для меня

было полной новостью. Более того, я не очень хорошо себе представлял, кто это такая. То есть я знал имя и так далее, и так далее, но, в общем, поэта я особенно не знал. Кроме того, в те времена мне были интересны наиболее – мне было 22–23 года – меня интересовали очень энергичные. То есть поэзия Владимира Владимировича Маяковского, Багрицкого, Луговского, кого хотите. И с ее стихами я был знаком чрезвычайно поверхностным образом и так далее, и так далее. И мы стали туда ездить. Мы приехали, и она нас приняла, замечательно, накормила, как полагается. Один раз приехали, два, но для меня это скорее были поездки за город, знаете, как к кому-то зайти на дачу, и так далее, и так далее. Пока в один прекрасный день, мы возвращались поездом, в электричке оттуда, электричка была переполнена народом, и дорогой я почитал ее какие-то стихи. И вдруг стихи – когда я их читал, они на меня впечатления особенного не производили – но вдруг в поезде, ночью, переполнен был, конец недели был, суббота, наверное, или воскресенье, сдавливается все, трясется, темное окно, отражаются пассажиры, я вдруг услышал стихи ее, и тут я все понял. Пелена упала, как завеса упала. Мало было очень дано. Просто от общения с ней одно становилось понятным – как надо жить. Не как писать стихи, до этого додумываешься сам, это, в конце концов, в сильной степени зависит от обстоятельств, кто рядом, кто твои современники, от твоих читательских вкусов, я уж не знаю от чего. Но как жить? Тут можно было научиться. Она, в том же самом Комарове, я не помню, как называлось до этого самого, Келломяки, конечно же. Там были дачи и других писателей и литературных деятелей. Например, в непосредственной близости от нее были дачи людей, которые ее травили в 40-х годах после этого ждановского постановления со страшной силой. Гуляя по улице и встречая их, она с ними раскланивалась. Она говорила, руки я им подавать не стану, но раскланяться – я раскланяюсь. Ну, к этому можно добавить еще и разные другие влияния, но оно было ключевым. Если она могла простить, то кто я? – чтобы не простить. Например, вот эти дела. Но это и есть, может быть, то, чему нас лучше всего научили в этой жизни. Прощать.

Павел Крючков: В записных книжках Ахматовой, изданных итальянским, кажется, издательством небольшим тиражом, – там попадается громадное количество людей, такая симфония имен и фамилий. И я помню запись о возможной подготовке к юбилейному вечеру. Ахматова пишет, что она хотела, чтобы, если кто читал ее стихи, в частности фрагменты «Поэмы без героя», то – она пишет – Володя Рецептер. Я представляю актера, режиссера

и писателя Владимира Рецептера.

Владимир Рецептер: Я странно чувствую себя в этой обстановке, я заслушался прекрасной музыкой и этими записями, но свою роль представляю себе слабо. Потому что, действительно, я был здесь, вот тогда, был когда-то. У Анны Андреевны был здесь, был там, в писательском доме, и, в общем, права у меня говорить что-либо нет, просто есть ощущение вот этого поручения невыполненного. Потому что я не читал «Поэму без героя», потому что этого юбилейного вечера не было.



У микрофона Владимир Рецептер

Правда, было другое поручение. Позвонили с телевидения, сказали, что Анна Андреевна хочет, чтобы я прочел про Пушкина. Там прочел бы отрывок «Пушкин и дети». Она не хотела показываться в кадре, не хотела. И вот это поручение. Почему? Я думаю, потому, что нас познакомил Виталий Яковлевич Виленкин в Москве в своем доме и что-то ей рассказал обо мне, наверное, рассказал. О Гамлете, которого я тогда читал наизусть. Играл, скорее играл. Я терпеть не выношу артистов, которые читают стихи. Я вообще эту профессию не люблю, в том смысле, когда читают артисты стихи. Вот единственное, что я могу себе позволить в этой ситуации – это вспомнить какие-то строчки при вас, при ней. Те строчки, которые на меня произвели и производили всегда постоянное впечатление и какое-то еще

новое, может быть, впечатление.

О прозе она сказала совершенно замечательно: «Проза для меня была всегда тайной и соблазном». И потом, проза как-то растворялась в стихах. И еще, вот об этой странной профессии, о чтении вслух и сцене. Она говорила: «Насколько скрывает человека сцена, настолько его обнажает эстрада. Эстрада – это плаха». Плаха. Вот, а сегодня, вчера я просто читал «Элегии». «Северные элегии» читал, и вот это такая остихотворенная проза замечательная, и такие дивные стихи, с вкраплениями прозы. Просто я повторю то, на чем я застрял, на чем возникли мои паузы, я просто эти строчки напомню себе при вас, может быть, и вы их тогда вспомните. *Читает стихи…*

Из Первой Северной элегии:

…Темнеет жесткий и прямой Литейный,
Еще не опозоренный модерном,
И визави меня живут – Некрасов
И Салтыков… Обоим по доске
Мемориальной. О, как было б страшно
Им видеть эти доски! Прохожу.

…И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве
Под желтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах…
Все разночинно, наспех, как-нибудь…

…Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ
Невиданных, простились с небытьём.

Из Пятой Северной элегии:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
…
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, еще когда-нибудь

Меня задушит…

Шестая Северная элегия:

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая – как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола —
И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный…
Но это продолжается недолго…
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть паук и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят люди,
А возвратившись, моют руки с мылом,
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век – и тяжело вздыхают…
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает – мы чужие.
Мы не туда попали… Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,

А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас – и даже
Все к лучшему…

Павел Крючков: Примерно, как и предполагали по времени, мы сейчас приближаемся к финалу. И у нас… вот что еще важно. В прошлом году, когда здесь происходило тоже приношение памяти Ахматовой, в это же самое время здесь снимался фильм, точнее, снимались части фильма, которые, я когда начал смотреть, там разговаривают режиссер и автор. Ну, в общем, они примерно говорят о том, как снимать фильм об Ахматовой. Автор этого фильма Анатолий Найман, режиссер Хельга Ольшванг. Фильм еще не закончен, то есть он уже закончен, но там доделывается звук и все такое. И мы посмотрим давайте, будет такая премьера фрагмента. Восемь минут это длится. Я сейчас уберу эти стойки.

Эта картина, когда она будет закончена и выпущена, она будет показана здесь и за рубежом. Картина длится примерно два часа. И вот, когда мы думаем о Комарове, то есть когда я думаю о Комарове, об этом десятилетии, последнем десятилетии Ахматовой, как-то это связывается со словом даже «мы в конце пути». Находясь здесь, мы в конце ее жизненного, человеческого пути. А то, что вы сейчас увидите – это несколько слов о начале. Тогда еще… О том начале, когда еще слова Ахматова не было.

(*Попытки показать отрывок «Фильма о Анне Ахматовой» несколько раз срываются из-за слишком яркого дневного освещения. Люди не расходятся и, пользуясь паузой, задают какие-то вопросы, Крючков, помогая наладить технику, помнит, что вечер не кончился, продолжает направлять его течение, отвечает кому-то.*) Когда Ахматовой привезли сюда ее голос, ее записи 20-го года, передавал ей их Шилов. Кинофрагмент начнется тоже с ее голоса и звучать будет как раз здесь, в Комарове. А тогда она через наушник послушала и ничего не сказала. Вежливо отдала, возвратила наушник и только тогда отозвалась: «Спасибо. Да, мне всегда не везло с записями».

(*И еще кому-то.*) Нет, я не для заполнения паузы сейчас снова вылез сюда. Отнюдь, нет. Ну, если выйдет, так выйдет. Просто ждем. Получится, значит, увидим. Не получится, значит, в другой раз.

Наконец мутные тени на белом экране чуть-чуть сгущаются, Ахматова читает «Есть три эпохи у воспоминаний», становится возможно различить изображение.

Фрагмент фильма.

Голос Ахматовой:

Есть три эпохи у воспоминаний
И первая как бы вчерашний день…

Мой голос звучит с экрана, но я не слежу за тем, что на нем происходит. В моем воображении перед ним словно бы падают слои не столько прозрачных, сколько заслоняющих одна другую занавесей. Того, что было здесь в 1960-е годы, происходило с моим участием. Одновременно – фотографий происходившего, сделанных тогда случайно. Картин, проступавших за ее словами, вставáвших из речи. Меняющегося со временем, отличного от первоначального, понимания их, проявления смыслов, догонявших их на протяжении следующих пятидесяти лет. Недавних съемок. Сегодняшних тем, чтения стихов, объяснений, просто говорения. И – совсем уже неожиданно – длиннейшей очереди к Соловецкому камню на Лубянской площади, извивающейся, еле движущейся: людей, конечная цель которых – микрофон. Один за другим они произносят в него имя, отчество, фамилию, возраст, профессию, дату и место гибели истребленных советским режимом жертв. Я пришел туда с собственным коротким перечнем, но стоять было часа два, дождь, холодно. Послушал полчаса и ушел. В моем списке было четверо. Гумилев Николай Степанович, 35 лет, поэт, расстрелян 26 августа 1921 года в Ленинграде, похоронен в Бернгардовке. Клюев Николай Алексеевич, 53 года, поэт, расстрелян между 23 и 25 октября в Томске. Васильев Павел Николаевич, 27 лет, поэт, расстрелян в Лефортове, Москва. Мандельштам Осип Эмильевич, 47 лет, поэт, умер в пересыльном лагере под Владивостоком.

Между тем мой экранный киноголос произносил:

Ахматова была, в частности, еще и не той, какая, ты думал, она в эту минуту тебе видится. Поскольку у нее была трагическая судьба, то люди к ней приходили уже с выражением лица, которое, как они предполагали, соответствует трагичности. То есть с довольно заунывным просто. Но они всегда могли услышать от нее что-то, что и по сути, и по форме в корне противоречило этой их склонности, указывало, что так вести себя неправильно.

«…»

Приглядитесь, Ахматова здесь в разном состоянии. Этих фотографий было двенадцать. Мы сидим около ее дома в Комарове, домика, лучше сказать. Она читает стихотворение «Наследница».

Казалось мне, что песня спета,
Средь этих опустелых зал…

«…»

Это «Anno Domini», известная книжка. С ахматовской надписью – «Анатолию Найману в начале его пути». А это подарила спустя два года, оттиск поэмы «У самого моря». И надписала «Анатолию Найману. А теперь мое начало – у Хрустальной бухты». И та же дата, день рождения мой. Это похоже на передачу ею своего времени нам, неким нам. «Вот мое начало».

Видите ли, история любого человека не поддается рассказу другого человека. Что касается истории жизни Ахматовой, она больше меня. Я могу сказать о ней только в меру своего понимания каких-то вещей. Это будет более или менее анкетная история. Родилась в 1889 году, отец морской инженер, мама в молодости была в «Народной воле». Семья небогатая и неблагополучная, не просто небогатая, а с очень небольшим достатком. На самом деле, разговор о Херсонесе, о роскошном херсонесском детстве-отрочестве ведь идет исключительно как о месте – б) историческом и а) – где она не вылезала из воды. «Я плавала, как щука» или «Я плавала, как птица». С детства она была лунатичка, лунной ночью выходила на крышу. Близкие боялись за нее. Вот эта строчка: «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь»…

Павел Крючков: Спасибо. Кто-то замечательно сказал, что кино очень хорошая вещь, только зрителю приходится все время трудиться. Что это значит? – спросил другой кто-то. Ну, допридумывать. Видно было не очень хорошо, но слышно, по-моему, было хорошо. И видно было… Снег чудесно был. И сейчас я прошу Александра Петровича Жукова и Игоря Хомича.

Александр Жуков: Вот третий год мы уже здесь собираемся, значит, традиция такая уже образовалась. Ну, и мы с Игорем себя тоже рассматриваем как часть этой традиции. Здесь уже хочешь

не хочешь, а нужно петь, те песни, которые мы выбрали для этого. И я с таким волнением даже слушал сейчас голос Иосифа Бродского, особенно когда он ехал в электричке. И вот эту песню он тоже написал, когда он ехал в электричке… на день рождения Анны Андреевны. … Это тоже стало традиционным в наших вечерах памяти.

Закричат и захлопочут петухи,
Загрохочут по проспекту сапоги.

«…»

Мы не будем надолго задерживать ваше внимание, вы все уже замерзли, все хотим согреться. Мы еще пару песен споем… И дальше Павел будет завершать нашу программу.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.

«…»

И последняя, называется, «Летний сад». Надеюсь, что многие знают эти стихи замечательные.

Я к розам хочу в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград.

«…»

(Я слушал, как проплывают двустишия, пробираясь к концу, к моим любимым строчкам – «Здесь все перламутром и яшмой горит, но света источник таинственно скрыт». Любимым потому, что я со своих десяти лет что-то знал о них, тогда еще не существовавших. Мы вернулись из эвакуации в Ленинград, я гулял по июльским улицам вечерами, которые все запомнились мне безоблачными. Казалось, разрушенных зданий было столько же, сколько уцелевших. Многие дома стояли без фасадов, показывая внутренности квартир, комнат, задние и боковые стены, обои, что-то висевшее на них, потолки с казенной

лепниной, оборванную проводку. И все внутри выглядело светлее, чем снаружи, чем сами улицы. Свет каким-то образом шел оттуда, из брошенных помещений вовне, в, так сказать, город. В то, что от него осталось… Вот уже прозвучало под две гитары: «Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви». Я подумал: конечно, тост – а что еще это такое? И, подтверждая, меня нагнало: но света источник таинственно скрыт.)

Павел Крючков: Ну, вот это все. Спасибо.

Звучит аудиозапись: Ахматова читает стихотворение «Мужество».

2009

Два момента из программы прошлогоднего приезда выделились для меня и приходили потом на память. Тех, что говорили об Ахматовой – а шире, любого, для кого она когда-либо становилась предметом размышления и оценки, – можно огрубленно распределить по трем категориям. Самая многочисленная – считающих ее крупной фигурой, если угодно, знаменитостью, но исторической. Раз навсегда равной некоей «Ахматовой», неподвижной, памятнику. Вторая группа – людей с самомнением, сосредоточенных на том, какое они должны производить впечатление, и следящих – кто сознательно, кто инстинктивно, – за тем, производят ли они его. Не мешает ли им кто. Такие относились к ней, как правило, критически, ставили – по большей части надуманно – всякое лыко в строку, не стеснялись орудовать напоказ своим взглядом свысока. Для третьих она была живой талант и ум, собеседница, современница.

Белле Ахмадулиной было что представить слушателям в доказательство своей исключительности. Когда она умерла, направлявшихся на гражданскую панихиду в ЦДЛ встречал плакат, начинавшийся со слов «ушел великий русский поэт». Думаю, это было написано по нежеланию задуматься над тем, кем она была в русской поэзии. Завели говорить «великий поэт», а это чепуха. Она поэт, по сути, неоцененный. Она привила стихам индивидуальную интонацию – как таковую, ее стихи хотелось читать вслух, и когда ты позволял себе это, твой голос и тон, а иногда и тембр начинали походить на ее чтение, и тогда казался универсальным звучанием поэзии. Это редкость. И отдельно это редкость в созвездии русской поэзии, столь щедрой на уникальные дарования.

Когда Ахмадулина читала в Комарове стихи, обращенные к Ахматовой (и Мандельштаму), в них не было и тени скрытого, не говоря уже, обнаруживаемого, сопоставления с собой. Были, как она сказала, «нежность и почтение», а сверх того только восхищение ими. После чтения, долгих аплодисментов, пышных роз она прошла с места, где стояла, на скамейку. Трехместную, я сидел в углу ее. Она села в другой. Прошло минут пять-семь, вечер шел своим чередом, вдруг она наклонилась ко мне и сказала: «Толя, как ты думаешь? Мы не очень обидели Анну Андреевну?» Сравним это с выступлениями, звучавшими на этом месте в предшествующие три года, и почувствуем разницу, оттенки ее.

Александр Жуков, Анатолий Найман, Белла Ахмадулина после ее чтения в Комарове 22 июня 2008 года

И здесь напрашивается отметить, чем отличалось чтение стихов Ахмадулиной от ахматовского. Я готов был сделать это раньше, когда речь зашла о скульптурности Ахматовой в связи с ее стихотворением «Читатель». Но чтение Ахмадулиной, пленительное, осмелюсь сказать, обольстительное, оттенило разницу самих критериев, по которым оценивается то, что представляла собой манера чтения Ахматовой. То, что не имело ничего общего ни с чьей из известных нам манер. Поскольку в эти минуты она – скажу, пожалуй, так – исполняла еще одну миссию. Когда она читала стихи, все равно, со сцены или в комнатном кресле, она выглядела, как будто в это время ее пишет или лепит или то и другое художник. А правильнее – с большой буквы: Художник, – выбрав в качестве модели акта творения. Она – натурщица и Натура и аллегория Натуры, как была в реальности для десятков художников в молодости и в зрелые годы. И в старости, покрывшись морщинами и став грузной, – еще убедительнее. «Почернел, искривился бревенчатый мост, / И стоят лопухи в человеческий рост, / И крапивы дремучей поют леса, / Что по ним не пройдет, не блеснет коса. / Вечерами над озером слышен вздох, / И по стенам расползся корявый мох», – чей голос читал эти стихи из «Anno Domini», ахматовский или крапивы, лопухов, древесины, мха? Строчки из стихотворения

«Читатель»: «Там все, что природа запрячет, / Когда ей угодно, от нас», – в частности, и про это. А одно из самых пронзительных ее стихотворений:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый…
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный, —

это Книга Бытия от первых минут творения мира до появления в нем первых городов вроде воспетого Ахматовой «родного Содома», прочитанная ее голосом.

Другой резко выделившийся момент прошлогодней программы содержался в аудиозаписи Бродского. В его по виду проходной фразе «для меня это скорее были поездки за город, знаете, как к кому-то зайти на дачу, и так далее»… Я ловил себя на том, что приезжать в Комарово, сюда, на Озерную, мне в предыдущие три года было приятно. Нравился повод. Привлекала праздничность. «И так далее». Положа руку на сердце, я, пожалуй, тоже мог бы сказать, что элемент «поездки за город», «к кому-то на дачу», если и не выходил на первый план, то присутствовал где-то рядом с ним: прикровенно, а порой и открыто. И по совести, меня это не устраивало.

Потому я и открыл новую, 2009 года, встречу с напоминания о цели наших сборищ. Я сказал, что есть понятие традиции и есть понятие привычки. Для Александра Жукова, сказал я, органична интонация обозначения нового, еще не обсуждавшегося замысла с какой-то очаровательной и волнующей легкостью. Именно так, осмотрев Будку после ремонта, он произнес: «Поедем сюда поздравить Ахматову с днем рождения». И четыре года тому назад мы приехали такой же малой, как сейчас, компанией. Непоправимая разница между тем днем и сегодняшним только та,

что тогда в нее входил Аксенов, который болен и больше уже не приедет. Ну, и народу было немного, и со скамейками как-то напряженно, и шел дождь. А нынче такая чудная погода. Это о традиции, о том, что четыре года приезжать в эти дни сюда, это уже порядочное число. В этом году я уговаривал Жукова перенести наш приезд на сентябрь, чтобы не быть рабами даты, но он просто и убедительно возра-зил, что очень привлекательно быть здесь именно сегодня. И, действительно, это так.

«А привычка, она заключается в том, что в этот день на этот двор подтягиваются люди, уже готовые к тому, что приезжают, значит, какие-то более или менее известные люди или знаменитости. Первый раз это был Аксенов, можно с его имени начать. Во второй раз Ким, Городницкий, я называю популярные, всеми опознаваемые имена. В прошлом году Ахмадулина… Ну, а в этом году кого вы привезли? А в этом мы никого не привезли.

Мы и в прошлые годы никого не «привозили», просто эти люди хотели с нами выступить. А в этом году так сложилось, что мы приехали только вчетвером. Четверо постоянных участников. Но люди – это, вообще говоря, такой предмет, что заговори о любом – и хоть каждому орден на шею вешай. Вот Павел Крючков, который заведует в нашей стране звукозаписью литературных лиц – так я готов его мощно представить, – он и сегодня привез очень интересные записи. Исайи Берлина – русского происхождения оксфордского дона, крупнейшего английского историка философской мысли, собеседника самых ярких людей XX столетия. Его только что прошло столетие. Ведь, вообще говоря, то, что Ахматовой исполнилось 120, а Берлину 100, с моей точки зрения, как-то по-новому бросает свет на ту легендарную их встречу в послевоенном Ленинграде. Тогда ей было 56, а ему 36. И оттого, что ей сегодня, ну завтра, 120, а ему две недели назад было 100, почему-то заставило те 56 и 36 по-другому, исторически отчетливее показать разницу в их возрасте, разницу поколений и прочее.

Сегодня программа такая. Я сейчас прочту то, что написал для этого дня, такой очерк небольшой того, что за это время произошло в интересующем нас ахматовском пространстве. Потом капелла, которая в прошлом году выступала. В частности, она опять исполнит отрывок из «Дидоны и Энея», оперы Перселла, одной из любимых вещей Ахматовой. Потом Крючков «покажет»… Так, знаете, выражаются, когда ничего не показывают, а говорят про музыкальные пьесы или записи устной речи – «я вам сейчас покажу свою новую песню». А оказывается – просто извлекают из аппарата или инструмента и горла звук. Потом Александр Жуков и Игорь Хомич исполнят несколько

песен на слова Ахматовой, на слова Бродского и что захотят.

Ну, и еще очередное извинение перед людьми, которые хотели бы здесь тоже выступить. Дело в том, что наш приезд сюда – это не вообще этакое развлекательное мероприятие, дескать, мы вам спляшем, потом кто-то еще домашнюю заготовку представит, вприсядку пройдется. Это довольно четкая программа, которую определяет личность Ахматовой. И когда люди хотят, скажем, продекламировать свое стихотворение, посвященное Ахматовой, надо, чтобы Ахматова разрешила его прочесть. Она не может сделать этого лично, но для всего есть свой, как сейчас выражаются, формат. Можно собрать какую-то компанию, можно выступить перед какой-то аудиторией, но не следует в продуманно приготовленную программу втискивать «позвольте и мне еще огласить стихотворение».

И – никак не кончу осведомительное предисловие – в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Гитовича. Он был соседом, добрым соседом Ахматовой, и о нем скажет несколько слов Рубашкин. Это очень уместно будет сегодня… Наконец со вступлением покончено. Я приступаю к тому, что приготовил – что, по моим наблюдениям, случилось с отношением к Ахматовой и с оценкой ее за то время, что ее нет на свете. Как переменилась обстановка, что ли. Это неизбежно коснется не только ее – то, о чем я хочу сказать. Давайте я прочту, и на том мое мямлянье закончится.

…На моих глазах пришел конец породе крупных личностей. Что такие рождаются, и довольно регулярно, по одному-два, а то и несколько в полстолетия-столетие, до нас донесла память человечества. Мы, во всяком случае я, исходили из того, что это обязательное качество людского сообщества, сама собой разумеющаяся его характеристика. Не то чтобы мы ждали, что непременно во время нашей жизни появятся Александр Македонский или Пифагор, но Черчиллю или Солженицыну не изумлялись. Судьба в этом смысле казалась щедрой. Я, например, чуть не до двадцати лет был современником самого Эйнштейна. Крупная личность не требует подтверждения своего калибра, ни доказательств, ни даже тотального признания. Она как слон. Крупен ли слон, нет спора. Если кого-то его крупность не впечатляет или он ставит под сомнение критерии крупности, мы не возмущаемся, ничего не объясняем, нам достаточно нашего впечатления, нашей уверенности. Сегодняшнее собрание проходит в 120-летнюю годовщину с рождения Ахматовой. Не учесть этого нельзя. Ахматова была неоспариваемо крупной личностью, потому и при жизни, и после смерти она привлекала к

себе внимание тех, кому ее масштаб мозолил глаза, чье самомнение угнетал. Первоимпульс всех пущенных в нее стрел, от ждановских до нынешних, кроется именно в несогласии с ее величиной. Боль, ущерб – ими ей причинялись. Но общая картина придавала атакам окончательную наглядность, а, именно, нападавшие расписывались кровью выбранной ими жертвы в своей, ничем не преодолимой мелкости. Так, в моем детстве, в зоопарке мальчишки кидали исподтишка в слона камешек, катышек пластилина со спрятанной иголкой, стреляли проволочными пульками из рогаток. Последней крупной личностью из доступных взгляду оказался Бродский. Говоря это, я чувствую смущение. Тем, кто его знал, в особенности тем, кто был близок с ним в ранней молодости, в это трудно поверить, это трудно принять. С самого начала и до смерти, он был, что называется, один из нас, в том смысле, в котором Ахматова была другой, иной. Вполне допускаю, что причиной такого представления о нем было его появление с небольшим опозданием, после нас. Он писал лучше всех, прекрасные стихи, незаурядные эссе, сделал больше всех, добился, чего никто другой не добился, разговор с ним всегда был на градус выше, чем с любым другим, на глаз было видно, насколько он энергетичнее всех. Но он был чемпион, абсолютный, бесспорный, тогда как в Ахматовой явственно проявлялось инобытие, иноприродность.

Кстати будет сказать, что она единственная и с самого начала, пока мы еще посвистывали по привычке «Ося, Ося», оценила его величину. Общее у них было то, что от них исходило: стихи или суждения, речь, жест, действие – не производилось только умом, памятью, душевным составом, силой духа. Во всем этом билась кровь, *этим* она отличалась от, например, Лидии Гинзбург, а он, например, от Аверинцева, величин крупных. И вдруг кончились Ахматова, потом Бродский, и одновременно все другие. Тех, кого можно назвать крупной личностью, не стало. Прекратило существовать само это понятие. Оставался шанс, что эпоха устала и, как земля под паром, временно отдыхает. Возможно, и так, кто знает. Но есть несколько признаков, указывающих на невозвратимость этого исчезновения. Все они сводятся к главному – к лишению независимости. Только она дает возможность не вписывающейся в принятые рамки фигуре сохранить цельность, не поступиться никакой своей компонентой, никакой частью. Независимость в том виде, как она обеспечивала возникновение, развитие и само существование такой личности, сделалась недостижимой. Присказка Ахматовой «поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять» была не

пожелание, не заклинание, не прикровенная самооценка. Зависеть от царя, зависеть от народа поэт попросту не может в силу своей принадлежности нездешней, скажем по-школьному, вакхической стихии и аполлоническому духу. Как человек, однако, он в своем праве выступать плакальщиком от лица несчастных или царедворцем, но с конца восемнадцатого века характер этих ролей наполнился недвусмысленной либо гибельностью, либо губительностью, которые двадцатый довел до логического завершения, сделав неизбежными.

Не в том только было дело, что любая роль предлагала моральный выбор между тираном, предателем и узником, а в том, что сперва тебя заставляли выбирать, ты не мог от этого отказаться, после чего попадал в зависимость от того, что выбрал. И тем не менее позиция узника, жертвы, все равно чего, общечеловеческой низости, несправедливости индивидуальной, социальной, психического или телесного недуга, наркотика, сохраняла личное достоинство. Советская идеология не признавала наличие инакомыслящих, униженных, калек, маргиналов, западников, авангардистов и так далее. Все они были просто враги народа и отбросы общества. Иначе говоря, ты мог быть чуждым нашей действительности, упаднического элементом, пережитком, недорезанным изгоем и так далее, поскольку, согласно официальной доктрине, таковых, а следовательно, и тебя не существовало.

Именно такой жила Ахматова 50 лет, начиная с «Четок» и «Белой стаи» и до смерти. Большей независимости, чем у нее, не может быть у поэта. Но эта была независимость, так сказать, отрицательная, того, у кого ничего нельзя отнять. Для Бродского она обернулась арестом и ссылкой, которые, в свою очередь, принесли ему всемирную известность. Но и слава угрожает подчинить зависимости от себя самой. Она имеет тенденцию ускользать, принижаться, внушать озабоченность о своем состоянии, подталкивает к действиям, направленным на ее удержание, подпитку, обновление. Здесь требуется независимость, так сказать, положительная, того, кому ничего нельзя дать. Независимым в ахматовском содержании этого понятия сейчас, а для Бродского это началось с отъезда и достигло пика в последнее десятилетие его жизни, быть не удастся.

В середине семидесятых годов майор КГБ наставлял моего знакомого, которого, как тогда выражались, курировал: «Чего рыпаетесь? Все под нашим рентгеном. Нажимаю кнопку с фамилией, и вот она, ваша ячейка, а в ней вы». Тот вяло возражал, что рассчитывает, что ихняя рентгеновская сеть, как все

у нас, собрана халтурно и до его ячейки не доберется. К нынешним дням ячейка стала уже не твоя, а их. Тебя в нее только направляют. Не столько ты сам объявляешь себя кем-то – сторонником бесправных, последователем Серебряного века, – сколько объявляют тебя. После этого ты становишься просто номером в списке зачисленных в категорию правозащитников, зачисленных в категорию декадентов… Категорий хватает на всех, мест сколько угодно. Ты перестаешь быть конкретно тобой, становясь одним из. Для подтверждения своей подлинности ты сверх этого должен получить сертификат автономности. Выдается он через телевизионную или квазителевизионную, словом, так или иначе приводящую к оттиску твоего имени и физиономии на чужих сетчатках инициацию. Без нее ты самозванец. Но так устроен телевизор, что для всех твое появление на его экране значит также, что ты их, тех, кто выдает сертификат. Они разрешают твою автономность.

Микроб независимости сидел у Бродского в крови. Рассказы о том, как он постоянно следил за тем, достаточно ли свободен, даже внешне, стали притчей во языцех. Я уже писал про то, что, в конце концов, он выглядел словно бы попавшим в зависимость от независимости. Почти каждую реплику в живом диалоге он начинал с «нет, нет, не совсем так», что на нашем языке значило «совсем не так». И дальше развивал свои соображения или, если угодно, свою точку зрения, которая могла дословно совпасть с опровергаемой в начале ответа. Как-то он упомянул, что приглашен в Амстердам прочесть лекцию на 50-летие со смерти Хейзинги. Я спросил, что́ ему Хейзинга. «Что он мне? Я еще не думал. Но вы же знаете наш метод. Если он утверждает, что так, я, естественно, утверждаю, что не так. Потому что это действительно не так». На мой взгляд, именно это, а не редкостная литературная конкретно-поэтическая одаренность превратили его в фигуру такого ранга, всем видимого, всеми ощущаемого. Я мог бы назвать как минимум двух, как максимум четырех поэтов, его сверстников, наделенных сравнимым талантом. Но что-то, и отнюдь не стечение обстоятельств, не дало им стать с ним вровень. Это он собирался угнать самолет из Самарканда за границу, он был арестован за это в первый раз, он еще в юном возрасте бросил с велосипеда в окно Союза писателей, где заседал президиум, презерватив со сметаной, он был арестован уже как следует и отправлен в Архангельскую область. Это он без конца повторял: «Главное – величие замысла».

Целый ряд людей, близко знавших его, пользуются, рассказывая о нем, естественной формулой «мы с Иосифом». Но на каком-то уровне это теряет смысл. Ты уступил что-то

неважное, чего не позволил себе уступить он. И ты не пошел на что-то, не бог весть что, на что он решился. Независимость – это именно не мы с кем-то, а я. Его постоянная и беспощадная демонстрация своей независимости создавала неуютную, всегда чреватую, а сплошь и рядом разражавшуюся скандалом обстановку. Но сама независимость в столь полном, целенаправленном, без малейших скидок виде, выдавая не просто незаурядную, а уникальную натуру, почти всем импонировала. Бессознательно, а кто сознательно, люди соглашались, что выдающийся человек и должен, а если и не должен, то, во всяком случае, может быть таким, так что это никак не мешало всеобщему его признанию. Так или иначе, но, начав с тотального протеста, он пришел к тотальному отрицанию, впрочем, продолжавшему включать в себя и протест. Когда-то в молодости это объединяло нас. Нас четверых, нас десятерых, а может, сотню, трудно сосчитать аккуратно. Сохранение независимости во что бы то ни стало, для некоторых даже оголтелость. Ни ломтика из рук, которые угадывались как чужие, причем угадывались по большей части инстинктивно, ни микроскопической уступки, пусть с перехлестом в сторону отрицания того очевидного, с чем согласен, ни малейшего изгиба позвоночника – прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный навсегда в далекую цель. С годами позиция всех независимых, включая мою собственную, так или иначе смягчилась, а точнее размягчилась. Бродский один остался рыцарем независимости на всю жизнь. Как следствие и заложником, но это было не главное, с этим нетрудно справиться. Я не могу сказать, что принятое у евреев пожелание – живи 120 лет – приводило меня в восторг. Когда молод – звучит приятно, когда пожил и уже обложили, как собаки волка, хвори, во главе с сердечно-сосудистой недостаточностью, и чем дальше, тем оно безвыходнее и печальнее, призадумаешься: а зачем мне эти 120? И, так как нет на свете подобных долгожителей, слова эти – пример сомнительной доброжелательности, жалкого человеческого воображения и заведомая чепуха. Нереальный срок, только чтобы угнетать и пугать.

И вдруг эта дюжина десятилетий неожиданно обрела для меня конкретные черты. Мне было 23, когда я впервые увидел Ахматову и разговаривал с ней. Ей было 70, с тех пор прошло 50. В этом году ей исполнилось бы именно 120. Для подавляющего большинства ныне живущих это всего лишь еще одна круглая дата, теряющаяся во мгле времен, где-то между отечественными войнами 1812-го и 1941–1945 годов. Но для меня, пока я жив, это никакие не дела давно минувших дней, а нечто, случившееся не так давно, поскольку жизнь каждого человека явление целое и

цельное.

Мы живем не в последовательной смене впечатлений, а их органическим соединением и, например, 5 марта 1963 года, когда Ахматова пригласила к себе на ужин меня и Бродского, отпраздновать 10 лет со смерти Сталина, 10 лет без его кровавых бань, мне сегодняшнему гораздо ближе по времени, чем совсем недавнее пропагандистское телешоу «Имя России», которое прославляло его. Яркая убедительность 120-летия Ахматовой как чего-то живого и до сих пор длящегося обеспечивается двумя обстоятельствами. Тем, что память моя, которую, когда я был молод, она называла хищной, в достаточной степени остается при мне, и тем, что запомненное тогда мною не окостенело раз и навсегда, а в продолжение полувека, прошедшего с ее смерти, наполняется и развивается. Таков был ее метод разговора, не говоря уже письма. Таков был ее метод существования в культуре, взаимодействия с ней.

Те, кто видел Ахматову, чаще всего передавали впечатление от величественности ее образа словом «королева». Мне, кажется, тут есть некоторая путаница. Ни на одну из известных нам королев, взять что Марию-Антуаннету, что Елизавету Первую Английскую, что нынешнюю, она не походила. Скорее ощущение грандиозности и неприступности, исходившее от нее, сочетание с безмолвностью, неподвижностью, а также появившейся к старости грузностью, вызывало в памяти нашей Екатерину Великую. Но я, до сих пор пораженный редкостностью этого существа по имени Анна Ахматова, сравнил бы ее с белым единорогом, несущим, как говорят нам рассказы о нем, гибель любому, кто попадется ему навстречу. Всем, кроме чистой девы. Одна она может его укротить и сделать ручным. Ахматова, удушаемая смрадом эпохи, испачканная ее кровью, была, если продолжать метафору, этим дивным чудищем и его укротительницей. У тех, кто что-то знает о ней, звук ее имени включает в мозгу реле, которое как «пятью пять двадцать пять» создает картинку ее трагической судьбы. Трехсотая с передачею, муж в могиле, сын в тюрьме, революция, вышвырнувшая ее из декораций Серебряного века в холод и тьму пустой улицы, террор, гибель самых близких людей, страшная война, страшная блокада, гражданская смерть после постановления 46-го года. Но сколь ни внушительно случившееся с ней, судьба не уникальная. Такова, что называется, норма жизни. Все мучаются.

Судьба Ахматовой только сконцентрировала мучения. Несравненно важнее то, что над жесткой судьбой ее, над всем, что мы привыкли выдавать за ее судьбу, стоит сияние другой ее судьбы, во-первых, человека творящего, во-вторых – поэта. «Все

расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано, почему же нам стало светло?» Эти строчки именно об этом. «Но так близко подходит чудесное, к развалившимся грязным домам, никому, никому не известное, но от века желанное нам». С того дня, как я увидел Ахматову, я читаю эти ее стихи непривязанно к ландшафту послереволюционной, или какой угодно другой разрухи, но как разгадку механизма мироздания. Я застал ее в сравнительно благополучные годы. Литфонд выделил ей под дачу дощатый домик в Комарове. В Ленинграде у нее была собственная комната в квартире вместе с семьей ее бывшего мужа. Издательства предлагали переводческую работу. Этим, однако, только оттенялось висевшее над всем неблагополучие. Как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в глаза. Ее улыбка, смех, живой монолог, шутка подчеркивали, как скорбно ее лицо, глаза, рот. Неблагополучие было константой жизни, бездомности, неустроенности, скитальчества. Жалеть ли нам ее? Не стоит. Она победительница. Она не дала тяжести горя раздавить себя. Мы хотим жить весело. Нам нечего побеждать ни при жизни, ни по смерти. 120 лет существования – не наш срок».

Павел Крючков: Каждый раз, когда мы здесь собирались, здесь звучал голос Ахматовой и ее современников. И каждый раз – можно сказать: выбирался, а можно и: возникал – центральный узел, собиравший вокруг себя тему. Иногда им становилось ее стихотворение, которое она читала, иногда нечто, растворенное в воздухе.

Я помню, это трудно забыть, как здесь, над Комаровом, плыл ее молодой голос, в записи, сделанной в 1921 году, когда она читала стихотворение «Когда в тоске самоубийства…». Те, кто был здесь в прошлом году, помнят, как говорили о ней здесь Солженицын, Бродский и Чуковский. Сегодня таким узлом становится ее стихотворный цикл «Реквием». Я не буду объяснять, почему именно «Реквием», наверное, это и так понятно.

Вы услышите два стихотворных отрывка из этой сюиты в ее чтении, а также голоса Лидии Чуковской и Исайи Берлина. Сейчас прозвучат две записи, одна за другой. Ахматова прочитает эпиграф к «Реквиему», создававшемуся, напомню, с 1935 по 1940 год, и то, что она назвала «Вместо предисловия». И потом сразу седьмое стихотворение – «Приговор», которое кончается «Я давно предчувствовала этот / Светлый день и опустелый дом». По двум последним словам, «опустелый дом», была названа вышедшая на Западе в 70-е годы повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Произведение, написанное о безумии 37-го года, так я это назову,

то есть о безумии той эпохи в ту самую эпоху. Под повестью стоит дата – 39-й год. И Лидия Чуковская читала это произведение, эту свою повесть, Ахматовой.

Мне очень хотелось найти запись, где бы звучал фрагмент из «Записок об Анне Ахматовой». Но обнаружить запись, которую я мог бы здесь показать, не удастся по разным техническим причинам. Я принес запись тоже редкую. Лидия Корнеевна публично читает – это длится 2 минуты 30 секунд, значит, это будет после Ахматовой – в начале 90-х годов фрагмент своего предисловия к «Запискам». Это предисловие было написано летом 66-го года. Я попрошу нашего друга Евгения включить подряд сначала запись Ахматовой, а потом Лидии Чуковской.

Запись голоса Ахматовой:

Реквием. 1935–1940 годы.

Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

7-е. Приговор.

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,

Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то… Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Запись голоса Лидии Чуковской:

Он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия. Он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было. В очередях женщины стояли молча или шепчась, употребляли неопределенные формы речи: «пришли», «взяли». Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» тоже шепотом. Внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш. Потом громко произносила что-нибудь светское: «Хотите чаю?» или «Вы очень загорели». Потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив их наизусть, молча возвращала ей. «Нынче такая ранняя осень», – громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был обряд: руки, спички, пепельница. Обряд прекрасный и горестный. С каждым днем, с каждым месяцем мои обрывочные записи становились все в меньшей степени воспроизведением моей собственной жизни, превращаясь в эпизоды из жизни Анны Ахматовой. Среди окружавшего меня призрачного, фантастического, смутного мира она одна казалась мне не сном, а явью, хотя она в это время и писала о призраках. Она была несомненна, достоверна, среди всех колеблющихся недостоверностей. К 40-му году записей о себе я уже не делала почти никогда, об Анне же Андреевне писала все чаще и чаще. О ней тянуло писать. Потому что сама она, ее слова и поступки, ее голова, плечи и движения рук обладали той завершенностью, какая обычно принадлежит в этом мире одним лишь великим произведениям искусства. Судьба Ахматовой, нечто большее, чем даже ее собственная личность, лепила тогда у меня на глазах из этой знаменитой, заброшенной, сильной и сложной женщины изваяние скорби, сиротства, гордости, мужества.

Павел Крючков: Вы, наверное, расслышали, что на заднем фоне этой записи звучит какая-то непонятная музыка, какое-то

непонятное пение. Эта запись была сделана совершенно случайно в зале, человеком, которого уже нет, Сергеем Филипповым, мне хочется произнести это имя. И это чудо просто, что голос Лидии Чуковской сохранился для нас.

Сейчас будет вторая часть – это четыре записи голоса Исайи Берлина, потом короткая реплика Лидии Чуковской, потом еще раз будет говорить Берлин, и наконец Ахматова прочитает девятое стихотворение из «Реквиема». Коротко напомню. В 45-м году Исайя Берлин был у Ахматовой в Фонтанном доме, затем они разговаривали в 1965 году в Оксфорде. Ему посвящено ею немало стихотворений, два цикла, присутствует он и в «Поэме без героя». Слушать голос Исайи Берлина довольно трудно, мучительно. Запись хорошего качества, но говорил сэр Исайя с такой невероятной скоростью, что даже, рассказывают, его английский язык не всегда схватывали англичане. Мне посоветовали, и я попробовал то, что будет говорить Берлин, написать на бумаге, прочитать вам, а потом включить его голос. Но это длится в пять раз больше. Мне все-таки кажется, что расслышать и понять все можно, несмотря на такой удивительный, похожий на птичий язык.

Прошу вас, Евгений, эти четыре записи включить. Они по полторы минуты.

Исайя Берлин. А потом мы разговорились. И я у ней остался на квартире до 11 часов утра, в следующий день. … Она расспрашивала о Западе, расспрашивала о людях, которых я знал, которых она в свое время знала. Потом она читала мне свои стихи, прочла «Реквием», рассказала как, когда она написала и почему. Всю эту историю о той женщине, которая к ней подошла в очереди, вы знаете. Она хотела послать посылку своему сыну, Гумилеву, который тогда был сослан, это 37–38-й годы, это время. И она стояла в очереди, длинной очереди. Рядом женщины с письмами, посылками для арестантов. И тогда к ней подошла женщина и сказала: «Вы чем занимаетесь?» Она сказала: «Я писатель». «А вот об этом вы напишете?» Она сказала: «Да, я об этом напишу». Поэтому написала. Она мне об этом сказала. Из этого «Реквием» и происходит. Потом она мне читала «Поэму без героя», когда она была не окончена еще. Я не мог понять, о чем и о ком, конечно. Но что это гениальная вещь, это было ясно. Потом она читала много из своих ранних стихов. О политике не говорили никогда. Если я дотрагивался этого, косвенно, она показывала пальцем на потолок и говорила: «Нельзя, начальство». Я, конечно, прекрасно это понимал.

Лидия Чуковская. Сейчас вышли <…> Анатолия Наймана «Рассказы о Ахматовой». И вот он рассказывает, как она ему говорит, что в 46-м году, ну после известного постановления ЦК, что ни разу не было, чтобы она выходила из дому и чтоб не подымался человек… там как раз есть спуск, знаете? к Неве (описка; правильно: к Фонтанке. – *А. Н.*) … и не шел за нею. А он ее спрашивает: «Анна Андреевна, ну как вы могли быть уверены, что он идет именно за вами? Мало ли куда по улице может идти человек». Она ему говорит: «Когда за вами пойдут, то вы будете понимать». И это правда. Конечно, она была очень травмирована, и она иногда думала зря. Но думала в правильном направлении. Когда никто не верил вот в эти вот потолки, она понимала. Она «Реквием» не записывала до 62-го года. До 62-го года, написав его между 35-м и 40-м. Его только знали наизусть семь человек. И она. И вот так это было спасено.

Исайя Берлин. Когда она приехала в Оксфорд, она мне рассказала эту историю о том, что Сталин страшно рассердился. О моем визите к ней в 45-м… Как она знала, я не знаю. Когда Сталин сказал: «Так! Наша монахиня теперь с иностранными агентами встречается». Вот что. Она сказала: «Ну послушайте: мы с вами начали холодную войну». Я хотел ее убедить. «Я серьезно говорю, это не шутка». Я сказал: «Послушайте, мы страшно важные люди. Вы и я – конечно. Но начать войну такую мы, может быть, не способны». «Нет! Вы не правы! Никогда не знаете, с каких начал… (начинается. – *А. Н.*) Он был все-таки не совсем нормальный человек, старик был немножко сумасшедший». Все может быть. И потом она сказала: «Сталин был очень зол за это». И поэтому, я думаю, она считает, что сослали опять ее сына. Она мне сказала, что когда я уехал из Ленинграда, в тот же день пришли люди и поставили микрофоны в ее потолок. Не для того, чтобы слышать, а для того, чтобы испугать. Это не секрет, это было открыто сделано. Это вполне возможно, может быть и так. А потом я чувствовал себя виновным.

Анна Ахматова:

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,

Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

Анатолий Найман: Я виноват перед Павлом, мы условились, что я скажу, почему сегодня все время идет разговор о «Реквиеме». А я забыл. «Реквием» – все-таки это заупокойная служба, а когда человек умирает, то даже мы, в этом саду, в этом леске собирающиеся на день ее рождения, все равно отслуживаем некий мемориальный обряд. Думаю, в этом причина, почему сознательно или бессознательно речь, раз зайдя о «Реквиеме», постоянно на него сворачивает.

Объявлять, что будет дальше, сегодня не моя обязанность. Александр Петрович, вам решать. Когда эта капелла прячущаяся, а когда вы с Игорем. А может быть, пока…

Я только единственно что хочу сказать по поводу того, чем, каким образом заключится наш вечер. Дело в том, что Александр Петрович Жуков, чье имя здесь непрестанно склоняется каждый год, он, вообще говоря, занимается совершенно другими вещами, чем те, которые делает здесь. А именно – я, если позволите, по своему разумению скажу, чем вы занимаетесь. Он геофизик, в принципе, к вам можете подойти и сказать: «Я хочу, чтобы вы, чтобы ваша компания мне описала кубический километр земли, которая вот в этом болотце, например. Все, что в ней есть, в этой земле». Если у заказывающего есть чем заплатить за такую работу, Жуков велит привезти сюда приборы, похимичит и ответит: в этой земле находится то-то и то-то. То есть он будто бы устремлен туда, да? Но когда он берет в руки гитару и поет, он устремлен отнюдь не туда. Отнюдь не туда направлен и его

партнер Игорь Хомич.

Последнее, что про Берлина хочу сказать. Насчет того, как он говорит. Он как-то раз был приглашен в Гарвард читать лекцию перед ведущими славистами Америки. Начал, и через пять минут поднялась с места крайне уважаемая славистка и сказала: «Сэр Исайя, мы знаем русский язык, но, по-видимому, не в такой степени. Мы не понимаем, что вы говорите. Вы не могли бы говорить помедленнее?» Он сказал – ошарашенно: «Позвольте, но я говорю по-английски».

А сейчас послушаем о Гитовиче. Писателя Александра Рубашкина. По крайней мере, три минуты нам обещаны.

Александр Рубашкин: Я буду говорить по-русски, надеюсь, что вы меня поймете. Я хотел бы сначала сказать о том, что я был редактором в издательстве «Советский писатель» в начале 60-х годов, и в 63-м году на заседании нашей небольшой редакции я сказал в присутствии еще живых сегодня людей, поэтому я могу сказать это сейчас, что если мы не выпустим при жизни книгу Анны Андреевны Ахматовой, то это будет позором для нас. Мы приняли это решение.

Конечно, не из-за нас вышла книжка. Изменилось время, и поэтому она могла выйти. Но тем не менее было и это. И еще, помимо того, что я скажу о Гитовиче, хочу упомянуть о том, что недавно я Нине Ивановне Поповой, заведующей ахматовским музеем, рассказывал о том, как относились к Ахматовой в начале 20-х годов люди, далекие, казалось бы, от Серебряного века, и как она влияла на людей. Я имею в виду записки прозаика Геннадия Фиша, который был комсомольцем ретивым и т. д., и он написал в своем дневнике вещи, которые мало кто знает. Он написал: «Сейчас прочел «Anno Domini» Ахматовой, какая замечательная книга. Ахматова большой, невероятно большой поэт и как-то странно, когда ее встречаешь на улицах: стройная, строгая, проходит она и, кажется, принадлежит не нам, но ушедшим прошлым дням. Но ведь она еще не старая, 35 лет. Люблю я Ахматову». И потом он же писал стихи: «Сохранить бы в памяти дольше / Облик ее чеканный, / Я на званом балу не больше, / Как гость незваный». Геннадий Фиш перестал писать стихи, потому что он понял, что ничего похожего на Ахматову он написать не может, и он говорил, что у меня можно все переставить, выкинуть, вставить, а у нее нельзя ни одного слова и ни одного слога. И вот поэтому я думаю, что нам еще предстоит говорить об окружении Ахматовой и о людях, которые писали и вспоминали о ней.

Я по предложению вдовы, жены Гитовича, поселился на

некоторое время в доме, который там сзади, а Гитович жил вот в этом доме, а здесь жила Анна Андреевна. По утрам я приходил к Гитовичам, потому что Сильва сказала, что утром кормиться в Комарове очень трудно, поэтому будете приходить завтракать. Я проходил мимо дома, и всегда каждый день в течение двух недель видел Анну Андреевну, но только здоровался с ней, познакомиться не решался. А Александр Ильич приходил к ней часто, и есть фотография, на которой Гитович и Ахматова. На фоне этого дома. А однажды он пришел и сказал: «Я сделал дерзкую вещь, я перевел поэму с китайского, которую уже перевела Анна Андреевна». Но когда он перевел, он дал Анне Андреевне прочитать, и она написала записку ему, что этот перевод сделан очень хорошо. Гитович болел в начале 66-го года, и от него скрыла жена, что умерла Анна Андреевна. Я был на ее похоронах, а он не был. И потом, когда он узнал об этом, он сказал: «Что? Без меня провожали Акуму?» Так звали в доме Анну Андреевну. На похоронах я увидел одну сценку, которую, может быть, мало кто мог увидеть. Недалеко от меня стоял ныне здравствующий поэт Сергей Михалков. Он постукивал своими сапожками, потому что было 10 градусов мороза в этот день в марте, и говорил: «Мы это быстро провернем». А потом он выступал и говорил какие-то слова. Такая была эпоха, продолжавшаяся с полуправды. И я думаю, что мы должны говорить о людях, которые знали Ахматову. Гитович посвятил ей замечательные стихи: «Дружите с теми, кто моложе вас, а то устанет сердце от потерь». У меня есть только три минуты, поэтому я не располагаю большим временем.

(Это было трогательное выступление, и слова о друзьях и добрых знакомых сердечные. Но то, что я знал о молодой активности Фиша, не сходилось с процитированными его дневниковыми признаниями о добровольном уходе в тень перед поэтическими достижениями и высотой образа АА. Я почувствовал, что в ответ на произносимое непроизвольная печальная улыбка сочувствия непонятно к чему поползла у меня по лицу.)

Павел Крючков: Ну, пожалуйста, я сейчас прошу, сегодняшнего жителя этого дома и хранителя, чудесного писателя Валерия Попова сказать несколько слов.

Валерий Попов: Давайте вспомним, что мы все здесь живем в Комарове под крылом Анны Ахматовой, чувствуем ее благодать, чувствуем порыв гениальности, который не всем нам доступен, но

мы все ему стараемся следовать. Некоторые даже ревнуют сейчас, кто больше знал Ахматову, кто с ней чаще встречался. Тут даже возникла некоторая борьба, но я считаю, мы должны забыть об этом.

Вот Лидия Дмитриевна Гладкая, поэтесса, вчера мне рассказывала, что на этой террасе они сидели с Ахматовой, в день рождения Анны Андреевны, и на столе была водка, картошка и селедка. И Анна Андреевна сказала: «Я так встречаю все свои дни рождения. Шикарнее не получается». Но при этом такая интересная деталь, картошка была обсыпана. А чем вы думаете? Укропом, думаете? Нет, не укропом. Она была обсыпана лепестками роз. Анна Андреевна осыпа́ла картошку лепестками роз. Вот такое бывает, мой кулинарный рецепт. Поэтому она гениальна. А мы тут тоже живем под ее началом, и вот вы даже не представляете, какой вчера здесь был у нас субботник, посвященный Анне Андреевне. Поэт Виталий Дмитриев, лауреат, кстати, ахматовской премии в Петербурге, вот он здесь, вот то крылечко, где сидят поэты. Здесь была просто руина и доски валялись. Здесь Анна Андреевна построила замечательное крылечко, одно из лучших в Комарове. То есть мы все очень готовимся: носили мусор, ждали вас с радостью и восторгом.

И я хочу сказать, что, конечно, Анна Андреевна главная, но тут много людей, которые поддерживают атмосферу, замечательную комаровскую атмосферу, благодаря которой этот дух не пропадает. Александра Рубашкина знаете, Муза с нами вот сидит, Сергей Михалыч Некрасов – директор Пушкинского дома, Склярский – директор «Бродячей собаки», где дух Ахматовой живет. Идти по кругу, тут много есть. Вот Дмитриев, который замечательный мастер слова и дела. Дальше сидит Илья Штемлер, замечательный прозаик, то есть нас много здесь. Вот сидит Люда Бубнова, вдова писателя гениального Виктора Голявкина, которая сюда приходит, ухаживает за могилой и не дает угаснуть памяти о нашей замечательной литературе. И вообще я смотрю на эти лица все очень знакомые, родные, кого видел в магазине, кого в библиотеке. Комаровская наша компания, слава богу, жива, и мы духом Ахматовой живы. Вот сидит Владимир Аркадьевич Гуменников, благодаря которому здесь все это осуществляется. Много-много замечательных людей. Вот, например, гость из Финляндии Умо Маннин, который каждый год сюда приезжает, пересекает государственную границу, не знаю как, и всегда оказывается с нами. Всех вас… Давайте любить друг друга и поддерживать комаровский дух всеми нашими силами. Вот сидит Владислав Яковенко, молодой и красивый, депутат Комарова, который очень рьяно нам помогает.

Вот – Анатолий Найман, Крючков, вы их знаете. А вот сидят, спрятались за дерево *<нрзбр.>* и Снеговая – библиотекари нашей замечательной библиотеки, которые колоссально делают для поддержания петербургского духа и русской культуры. Покажитесь всем, пожалуйста. Давайте быть вместе в доме Ахматовой, будем адекватны ей. До свидания. Да, я еще забыл, там русские поэты скромно спрятались: вот замечательная Лена Шварц, вот там сидит и Глеб Горбовский, дуется на нас немножко, там сидят поэт Левитан, Семенова Татьяна, то есть здесь много нас, замечательных поэтов, которых мы должны знать и любить. Таланты здесь не редки, их здесь много. Давайте быть знакомы друг с другом. А сейчас, видимо, время Александра Петровича Жукова, нашего кумира и благодетеля.

(На этот раз, мягко говоря, немножко зарапортовался Попов. Рассказ о пире на веранде по случаю дня рождения – на совести сочинителей. Картошка, посыпанная лепестками роз, – типичные «народные чаянья», как называла такие фантазии Ахматова. Не безобидные: этакая деталь к портрету впавшей в маразм жеманства барыньки. Но мне исключать из отчета не хочется: как и в предыдущих монологах Попова, в этом есть «направление».

Абсурдистское: что ни сыпь, к ответу не призовут, поскольку абсурд же. И небезвыгодное: Ахматова-де, конечно, гений и знамя, но че она тут, в литфондовских хоромах, выдала на-гора? – две-три дюжины коротких стихотворений; а мы, хоть и теснясь, но цельную библиотеку, если скопом считать.)

Александр Жуков: Споем несколько песен буквально. Мы с большим удовольствием всегда приезжаем в это чудесное место, я бы даже сказал, святое место сейчас для России и российской поэзии, да вообще для русского народа. И я лично счастлив, что имею какое-то прикосновение ко всему этому. Чтобы долго не говорить, споем две песни на стихи Ахматовой и одну песенку, которую, я уже как-то говорил, сочинил Бродский, когда они с Анатолием Генриховичем ехали в электричке на ее день рождения. Анатолий Генрихович был с букетом роз, у Бродского ничего, кроме листочка бумаги с карандашом, и вот он изваял стихотворение, которое мы исполним третьим номером.

Там тень моя осталась и тоскует.

Такое коротенькое стихотворение, но какая-то перекличка с встречей Анны Андреевны и Исайи Берлина как будто чувствуется, мне во всяком случае.

Ну, а это хотя было в Петербурге сочинено, но взгляд из Комарова, с которым много позже навсегда породнилась Ахматова, делает «очертанья столицы во мгле» еще резче.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

«…»

Ну и Иосифа Бродского, длинненькое, боюсь сбиться, поэтому подставлю себе буковки, стишок. И давайте им закончу.

Закричат и захлопочут петухи.

«…»

Ну, вот. И спасибо вам за то, что мы вместе почтили память Анны Андреевны. Будем надеяться, что традиция эта продолжится. Всего вам хорошего.

2011

В 2010 году мы не приезжали, обстоятельства так сложились.

А в этом приехали и попали в самое пыхтение коммунальной склоки. Дележ собственности. Какие-то серьезные мужики захватили комаровский Дом творчества, где, как сказал взволнованный Попов, «мы прожили всю жизнь, где мы написали все свои книги». То есть сперва Крючков, открывая программу, произнес несколько прокисшее уже заклинание о «сложившейся традиции», которую олицетворяет собой «замечательный и любимый нами прозаик Валерий Попов», «хозяин этого места», после чего предоставил ему слово. Попов назвал тему «немножко трагической»: «нам нужно всем собраться и соединить наши силы для сохранения и защиты Комарова». Ахматова же, связал он эту «немножко трагедию» с сегодняшним днем, «была не только замечательной поэтессой, она была замечательным гражданином, она была «железной леди», она никогда никому не уступала, всегда боролась, в любых, более тяжелых, чем мы, условиях и побеждала. Так что давайте, пускай эта Будка <…> будет центром нашего сопротивления, против наступления всякой пошлости, нуворишей, нахалов, наглецов, безграмотности. <…> Давайте возьмем от Ахматовой не только замечательные стихи, но и ее мужество, ее силу, ее бесстрашие».

Стояние в тюремных очередях времен «Реквиема» и многолетние на всю страну поношения, открытые Постановлением ЦК 46-го, он намеренно и напоказ перепутал с местными уголовными разборками, а нас, собравшихся, подал как своих союзников. И в аккурат после этой незамысловатой, но унизительной подменами и пустозвонством *демагоги́а*, в которой Ахматовой отводилась роль алого бантика на бескозырках разгневанных матросов, предстояло говорить мне.

Я начал с того, что если выбранная мной для сегодняшнего разговора тема и пересечется с тем, что сказал Попов, то странным образом. «В этом году исполнилось 45 лет со смерти Ахматовой, и когда я думал о том, что здесь говорить, мне пришло в голову, что может быть довольно любопытно сравнить первые 45 лет ее жизни и первые 45 лет ее смерти. Что в таком сопоставлении может открыться неожиданный эффект. Я имею в виду не какую-нибудь нынешнюю модную тему о, скажем, «жизни после смерти» вместе с группирующимися вокруг нее туманами фантазий и догадок. Но вспомнить как о реальной посмертной судьбе Вергилия историю о его знаменитом путешествии с Данте,

случившемся через тысячу триста лет после смерти великого римлянина, здесь более чем уместно. Или, по-другому, – как Пушкин наш через двести лет после своего рождения стал ближайшим другом Лужкова и рестораном в Москве – тоже годится. Короче говоря, это не выдуманная вещь – то, что происходит с поэтом после смерти. Тем более что в случае Ахматовой за упомянутое время в стране произошел существенный сдвиг, переменивший, по моим соображениям, тот вариант судьбы, который предназначался поэтессе посмертно. Я очень кратко, просто напомню, что такое были первые сорок пять лет жизни Ахматовой, и потом тоже так же кратко перечислю, что происходило за 45 лет после того, как она умерла.

Ее сорокапятилетний возраст приходится на 1934 год. К этому времени позади у нее было ее знаменитое херсонесское детство, еще более, может быть, знаменитое царскосельское детство и юность, начало творчества, брак с Гумилевым, два визита в Париж и один в Италию, одна из ведущих ролей в петербуржской богеме, влюбленности, ее и в нее, «Цех поэтов», акмеизм (Ахматовой тогда был 21 год), Первая мировая война, революция, обрушение прежней жизни (Ахматовой было тогда 28), голод. Целый ряд эпизодов, примером которых может служит «копка грядок» во дворе Фонтанного дома. Когда мы приходим сейчас в ахматовский музей, в Фонтанный дом, там нас встречает эта ставшая ее музеем квартира, которая на самом деле одно из жутких мест в ее жизни.

Гибель (я продолжаю перечислять) и бегство близких за границу, смерть Блока, расстрел Гумилева, первые волны террора, первое постановление ЦК 25-го года – не арестовывать и не печатать. Пять книг стихов, последняя – «Anno Domini» вышла в 22-м году, когда Ахматовой было 33 и если бы в это время прервалась ее жизнь, мы имели бы совершенно полноценного поэта «Анну Ахматову». Мы бы недосчитались целого ряда замечательных ее произведений, но Анна Ахматова как поэт была уже сложившимся и совершенно очевидным, ярким, редкостным гением России. Затем десятилетия молчания, в которые вошло изучение архитектуры Петербурга, пушкинистика, и наконец 34-й год – арест самого почитаемого и любимого ею поэта Осипа Мандельштама.

Теперь что случилось после смерти. Во-первых, вышло много подпольных воспоминаний об Ахматовой. Прежде всего, конечно, «Записки об Ахматовой» Лидии Чуковской. «Подпольных» я говорю потому, что тогда это печаталось или за границей, или как-то распространялось в запретном виде. Затем – том воспоминаний и анализа времени Эммы Герштейн. Вообще, весь

корпус разнообразных мемуаров. Был заложен уровень достоверности, пусть и сыгравшей (как в истории превращения бывшей пунинской квартиры в ахматовский музей) двоякую роль. Достоверности личности и достоверности творчества. Затем пришли 70-е годы, годы углубленного изучения ее стихов и прозы, ее сопоставления с одной стороны с Данте, с другой с Элиотом, ее современником, отдельно с Мандельштамом. Этот фундамент, который не поколеблен с тех пор и не будет никогда поколеблен, заложили три замечательных ученых: Роман Тименчик, Владимир Николаевич Топоров и Татьяна Цивьян. Был задан масштаб величины ее творческой личности, ее фигуры.

Следует отдельно упомянуть о книжке Надежды Мандельштам. Собственно говоря, первая книжка вышла еще при жизни Ахматовой, Ахматова ее не стала читать. Она хотела сохранить такую, какая была, дружбу и преданность и подозревала, что в этой книжке будет что-то, чего лучше ей не знать про Надежду Яковлевну. После смерти Ахматовой Надежда Мандельштам написала еще две книжки, которые, с моей точки зрения, заложили другой фундамент, а именно допустимости небрежного, самоуверенно-снисходительного отношения к поэтам вообще, к Ахматовой в частности. Ну там, во второй книге, если я не ошибаюсь, автору очень нравилось повторять, что Ахматова спросила папирос, и Надежда Мандельштам сказала, что она сходит купит, и Ахматова сказала: «Зачем, я сама схожу». И после этого – страницы того, что да, так и надо, поэтов посылать за папиросами, как если бы это что-то этакое значило, стоило рассуждений. Короче говоря, это был такой, с моей точки зрения, поворот, первая перефокусировка взгляда на Ахматову – чего невозможно было представить при жизни. Затем пришел 89-й год, столетие Ахматовой, обвал публикаций, выходили все время двухтомники, двухтомники, двухтомники, несколько подряд вышедших собраний сочинений. А затем возникла линия – не могу найти лучшего слова – «пинания» Ахматовой.

В первых рядах ученый Александр Жолковский, живет в Америке, дипломированный «антиахматовец». И наконец вышла книга, я ее не читал, поэтому ничего не могу о ней говорить, но рассказов слышал довольно. Книга, которая называется «Антиахматова». Людям кажется, что, если, например, сказать, что Пушкин сочинитель никудышный, то это говорящего каким-то образом возвысит. Это совсем не так. На этом деле, на этих ударах копытом обычно ломают копыто, потому что с Пушкиным или Ахматовой ничего не делается оттого, что кто-то пишет, что они были не такие уж замечательные. В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Мандельштама. Прошло совершенно

незаметно, не было людей, желающих что-то по этому поводу сказать, как-то это отметить. Я не вижу тут никакой беды, слезы лить не по чему. Нормально, был период взлета имени, сейчас период некоторого забывания или забвения. Но я выписал, мне попалась статья человека по фамилии Колесников, у которого душа болит, что ли. Мы же все более или менее воспитаны на том, что у нас за что-нибудь душа болит, вот и у Колесникова тоже душа болит, и по делу. Я выписал один абзац. Он пишет: «Ведь что такое Мандельштам для широких масс 10-х годов XXI века, то есть нашего, в том числе для молодого, образованного класса? Это же Публий Овидий Назон, Квинт Гораций Флакк, некто писавший очень давно, причем на незнакомом языке, о непонятных реалиях. Мандельштам и правда ближе к античности, нежели к сегодняшнему дню, до такой степени несовместимы тогдашнее Тенишевское училище и нынешние образовательные стандарты. Наиболее демократические, продвинутые еще помянут добрым словом «Мы живем, под собою не чуя страны», но, в принципе, нет критической массы людей, присутствующих в медиасфере, в том числе (и далее он перечисляет), которые отметили бы 120-летие поэта, по значению равного Пушкину и Пастернаку, поэта, подозревавшегося в гениальности даже товарищем Сталиным». Я вам всю цитату привел. Для меня очень выразительная цитата.

Дело в том, что хотел этого автор или не хотел, но он четыре раза – четыре! – говорит о широких массах, о нынешних образовательных стандартах, еще один раз о массе людей как таковой. Это и есть главное изменение общественной конструкции страны. Действительно – массы. Не тогда, когда этого хотела советская власть, а сейчас массы пришли к формам оценки того, что́ есть деятель искусств. Поэт. «Плохой поэт». «Да нет, вроде ничего». Когда некто сказал директору театров Лондона про пьесу Оскара Уайльда «плохая пьеса», тот ответил: «Максимум, что вы можете позволить себе сказать – мне не нравится». А сейчас сплошь «никуда не годная», «да он и вообще не тянет». Переменился состав атмосферы. «Мне не нравится» в ней не звучит, звучит «годится – не годится». А ведь это та же атмосфера, которой питается звук стихов. Для звучания стихов чрезвычайно важна звукопроводимость, потому что писанному на бумаге все равно требуется быть озвученным. Проговоренным. Ну хорошо, читая Мандельштама, надо об античности иметь представление, о Ламарке, о теории относительности. Но с Ахматовой произошло то же самое, что с Мандельштамом. У Ахматовой перед ним есть – считайте, как хотите, – можете, что преимущество, можете, что недостаток. В отличие от него она

кажется больше приближенной к разговорному языку, к передаче психологических состояний, ее – таково общее мнение – не надо объяснять. Но это только видимость, потому что на самом деле стихи Ахматовой – это не «Сероглазый король». Не сказочка. Как только в них погружаешься, это переворачивает устоявшийся психологический мир человека. Не говоря уже о том, что двигаться к ядру Мандельштама лучше начиная не с «Неизвестного солдата», а с «Я скажу это начерно, шепотом».

Мне один музыкант объяснил – сейчас такие объяснения не редки, – что теперь попса, скажем, Алла Пугачева, а раньше попсой был Моцарт. Я это говорю сейчас не ради парадокса или насмешки, я чтобы заявить, что это неправда. Моцарт на самом деле был популярен, как, предположим, сейчас эта певица, потому, что публика была другого уровня, была по-другому воспитана. Сейчас попса такая потому, что публике не из чего было воспитываться, а определяет цену искусству – она. Стихов Ахматовой, выговорить это для меня довольно горько, вообще никому не надо. По каким проявлениям ее оценивают? Ну, сперва по воспоминаниям: какая она была, что в молодости красавица, в старости грузная. Что она сказала. «Остроумно сказала». «Ничего остроумного не нахожу». И уже никто не обсуждает ее стихи… Я на это скажу: а и не нужно их обсуждать. Стихам в жизни не очень-то получается найти место. Поэзия – это частное дело людей, пишущих стихи. Главное же для остальных что? – обсуждать: «Ахматова» эта, эта «Анна-Андревна» – какая она, «какая-та не такая», или, наоборот «такая».

После этого я в очередной раз попросил прощения у тех, кому отказывал, когда они подходили ко мне и говорили, что хотят прочесть свои стихи. Я знал, что обижаю, причем обдуманно, это в самом деле тяготило меня. Я опять объяснял, что ни против кого не настроен, ничуть. Но мы в гостях у Ахматовой, «ее нет по некоторому биологическому недоразумению», и так вышло, что обязанность распоряжаться гостеприимством возложена на меня. «Разве пришли бы мы к ней живой и сказали: «Анна Андреевна, здравствуйте, я Вам сейчас прочту стихотворение»? Важно не что мы ей говорим, а что она нам говорит. Она может сказать: «Нет, простите, я не хочу слушать», или «Я сейчас не в настроении», или еще что-то такое». И рассказал, как Ахмадулина мне сказала: «Как ты думаешь, мы не очень обидели Анну Андреевну?» Чего никто больше не скажет на территории этой страны, а может, и всего глобуса. Вот это надо помнить. То, что здесь происходит – я знаю, как неприятно выслушивать похвалы, мало кто это умеет, но придется, – целиком обязано заботам Александра Петровича

Жукова и его жены, Веры Григорьевны. А он, хитрец, поручил службу отказов мне. Я предлагаю радоваться тому, что есть. Ведь единственное, что здесь есть, это что мы не участвуем в каких-то сварах, не лезем со своим, не выражаем свое неодобрение, не объясняем непонятно кому, почему мы имеем такое право. Короче говоря, стараемся «не очень обижать Анну Андреевну».

Я слишком долго говорил, но, значит, нужно было мне это сказать, вот и говорил.

Сегодня будет музыкальный вечер, будем слушать квартет Шостаковича. Перед этим прозвучит запись рассказа Соломона Волкова, который в шестьдесят каком-то году привез сюда своих товарищей-музыкантов и они вчетвером играли перед Ахматовой. Хочу сказать, что это был не единственный раз, когда она слушала квартет Шостаковича. Покойный, царствие ему небесное, Женя Чуковский, Евгений Борисович, он был мужем Гали Шостакович, Галины Дмитриевны. У него были записи, и он жил здесь на даче и приходил два-три раза к Анне Андреевне и ставил ей эти кассеты. Этого и других квартетов Шостаковича.

И конечно, как всегда, самый замечательный, хотя я вовсе не хочу противопоставлять его квартету, сюрприз приготовил Павел Крючков. Который, раз он сюрприз, значит, и говорить нечего. По-моему, все. Спасибо, до свидания».

Павел Крючков: Да, сложилась и такая тоже традиция. Каждый раз, когда мы здесь встречаемся, мы слушаем какие-то аудиозаписи. И опубликованные, и чрезвычайно редкие. И никому не известные, как бы премьера. Так будет и сегодня. В качестве человека, занимающегося звукоархивистикой, я делаю это с благодарностью отделу звукозаписи Государственного Литературного музея, где мы работаем с моими коллегами, тоже приехавшими сюда. Благодарностью, в частности, и за то, что вы услышите сегодня.

Вы услышите два включения. В первом – практически никем и никогда не опубликованный и не слышаный голос Николая Гумилева; запись, сделанная в 20-м году, фрагмент. Так совпало, что в этом году 125 лет, как родился Гумилев, и 90 лет, как его убили. Потом Мандельштам. Запись тоже неопубликованная, то есть тоже премьера – начала одного его очень знаменитого стихотворения, сделанная в 24-м году.

Потом Анна Ахматова будет читать стихотворение, написанное здесь, в этом доме, в августе 61-го года, «Царскосельская ода». Предваряя каждое это включение, я должен буду сказать несколько слов и кое о чем вас предупредить. Оговориться следует, потому что запись голоса Гумилева и

Мандельштама делалась в другую эпоху, на фонограф, на восковые хрупкие валики, в Петрограде, в институте Живого Слова.

То, что вы услышите, не вполне голос человека. Это то, что осталось от голоса, эхо голоса, я бы сказал: эхо эха голоса. Должен как-то вас к этому подготовить и прошу высоко и снисходительно настроиться – в том смысле, что, наверное, вы ждете другого. Но это живой голос человека. Мои покойные учителя говорили мне, что, чтобы услышать голос Блока, то, что от его голоса осталось, надо несколько раз в наушниках прослушать самому, тогда где-то на пятый-шестой раз перестаешь замечать помехи, и до тебя доносится его «белый» голос. Но даже сейчас, правда, после того, как я предварительно прочитаю эти две строфы вслух, вы услышите, как Николай Гумилев картавит, какой у него был своеобразный выговор. Попробуем.

Очень коротко о том, как эта запись была сделана. Гумилев преподавал в этом институте Живого Слова. Там преподавали и другие замечательные люди, Мейерхольд, Щерба, академик Кони, Бернштейн. Который создал там институт фонетической речи, где изучали декламацию, голос, особенности художественной речи, пытались понять, есть ли взаимосвязь и взаимодействие между написанным текстом и его произнесением. Например, является ли поэтический текст партитурой для читающего свои стихи поэта. Были записаны практически все поэты той эпохи. Однажды, когда Бернштейн с Гумилевым разгребали снег на Знаменской улице, профессор сказал: «Ну вот, надо вас теперь записать». Гумилев пришел, это было в феврале 20-го года, и записал довольно большую программу. Прошло некоторое время, был большой вечер Гумилева, на котором Бернштейн присутствовал. Сидел в первом ряду и записал в записную книжку, что «в мелодике голоса Гумилева чрезвычайно широко применяется, восходяще-нисходящая линия, часто без достаточных на то семантических оснований». А Гумилев ему без конца говорил: «Я мыслю и думаю ритмически – вам обязательно надо и прозу мою записать». После этого вечера Бернштейн сказал: «Давайте теперь запишем Вас еще раз с прозой, и я вас прошу, приведите Ахматову. Мы не знакомы, я ее не записывал». Они уже были в разводе, но поддерживали отношения.

В общем, они пришли, и Ахматова прочитала то, что мы однажды с вами здесь слушали: «Когда в тоске самоубийства…» и еще два стихотворения. Гумилев прочитал одно стихотворение и кусочек из прозы – «Золотого рыцаря». Это стихотворение, то, что от него осталось, мы попробуем с вами услышать. С воскового валика запись была снята специалистами своего дела,

звукоархивистами. Это стихотворение – «Эзбекие», про каирский сад, в котором Гумилев был в то время, когда он просил руки Ахматовой, получал отказы, был на грани самоубийства. Потом написал эти стихи, прошло десять лет, он снова туда приехал, в этот сад, и дал себе слово в этом роскошном, богатом, таинственном саду, где светила необыкновенная матовая луна, что, прежде чем он еще раз сюда вернется, он не позволит своей судьбе ничего такого, что может привести к смерти. Читаю эти две с половиной строфы.

Эзбекие

Как странно – ровно десять лет прошло
С тех пор, как я увидел Эзбекие,
Большой каирский сад, луною полной
Торжественно в тот вечер озаренный.

Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря,
Ни грохот экзотических базаров,
Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу
И сам ее приблизить был готов.

Но этот сад, он был во всем подобен
Священным рощам молодого мира:
Там пальмы тонкие взносили ветви,
Как девушки, к которым Бог нисходит.

Ахматова считала, что слова «я женщиною был тогда измучен», что это о ней. Итак, первая строчка: «Как странно, ровно десять лет прошло / С тех пор, как я увидел Эзбекие».

Звучит аудиозапись голоса Гумилева.

Ну вот, удалось услышать что-то? (*Аудитория: «Да».*)

Это звучало сейчас в первый раз. Именно здесь, в Комарове. (*Аплодисменты.*) Что совершенно, по-моему, удивительно. Когда эти записи переводили на магнитную пленку, хранить бобины с надписью «Николай Гумилев» было нельзя, и долгие годы там было написано: «Николай Степан*О*вич».

А сейчас помянем Мандельштама – послушаем запись, она тоже не опубликована. Не входила ни в виниловые диски, ни в

компакт-диск «Звучащий альманах. Осип Мандельштам». Очень знаменитые стихи. И сохранились лучше. Студенты не просили бесконечно их крутить, а я должен вам сказать, что когда записи делались на восковые валики, то уже тогда студентам раздавались тексты, чтобы они могли слушать то, что доносится из раструба фонографа. Можете себе представить, в каком мы находимся положении, когда их миллион раз уже прокрутили. Но вот Блока просили очень много, Гумилева просили много, он и сам слушал себя, а вот Мандельштама не просили особенно. Очевидно, еще и потому, о чем говорил Анатолий Генрихович. Это стихотворение «Век». Я его прочитаю, а потом мы услышим первые две строфы из него.

Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из живых вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческой земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

«…»

Звучит аудиозапись голоса Мандельштама.

А теперь читает Анна Ахматова, стихи написаны ровно 50 лет назад. «Царскосельская ода (Девятисотые годы)». Обратите внимание, она эпиграф к стихотворению произносит, не называя автора, – это «Заблудившийся трамвай» Гумилева. Строчка «В кипарисный ларец» имеет в виду книгу Иннокентия Анненского

«Кипарисовый ларец». Может быть, еще имеет смысл сказать, что «великан-кирасир» – это Александр III. А перед этим Ахматова читает: «Ворон криком прославил этот царственный мир». В печатном же издании – «призрачный мир». И последнее: удивительно, но далеко не одному из тех, кто слышал голос Гумилева, мерещился в этой записи восходяще-нисходящий, с подыманием третьей строки, отзвук. Ода написана редким для Ахматовой размером, двустопным амфибрахием со строгим чередованием мужских и женских рифм. Может, просто хотелось это вверх-вниз слышать. Или вспоминали «Китайскую девушку» Гумилева, но это уже совершенно другая тема.

Голос Ахматовой читает:

Царскосельская ода
А в переулке забор дощатый…

Н. Г.

Настоящую оду
Нашептало… Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой.
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,

А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая..
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир…
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

Перехожу к совсем другой теме. К Соломону Волкову.

Он не смог приехать, жена хворала, усилиями Александра Петровича его в Америке записали. Писатель и литературовед, и краевед, автор популярных книжек, «Разговоров с Бродским», Соломон Волков наговорил на видеокамеру рассказ о том, как 16 мая 65-го года со своими соратниками по Ленинградской консерватории приезжал сюда к Ахматовой. У нас уже был опыт попытки показать здесь видео, но смотреть его здесь тяжело. Мы послушаем звук. А я с разрешения Жукова передам ее в Гослитмузей, чтобы там лежала: как свидетельство непосредственное оно важно.

В 65-м году 21-летний Соломон Волков, студент Ленинградской консерватории, организовал струнный квартет. И разучил вместе с друзьями Девятый квартет Шостаковича, который тогда еще не был издан. Они даже сыграли его Дмитрию Дмитриевичу, ему понравилось. Волкову пришла в голову мысль показать это Ахматовой. И он просто ничтоже сумняся позвонил в Союз писателей и сказал, что вот мы студенты консерватории и мы хотим сыграть Ахматовой. Там страшно перепугались: «Ну почему же Ахматовой только, у нас много замечательных есть писателей, и вообще давайте организуем концерт, соберем их, среди них будет и Ахматова, и вы прекрасно сыграете». Но Волкову это было как-то неинтересно, он из этого разговора

вышел, потом каким-то образом раздобыл телефон Ахматовой, позвонил и сказал, что «мы такие-то и хотим сыграть». Она сказала: «Хорошо, я подумаю, что я хотела бы услышать, позвоните мне через несколько дней». Эти несколько дней Волков страшно боялся и переживал, потому что а вдруг она скажет: Шумана. А они студенческий квартет, у них не такой большой багаж. Не находил себе места, как он рассказывает. И когда позвонил, она сказала: «Я хотела бы услышать, если можно, Шостаковича». Волков говорит: «Ну как в душу, как в сердце просто заглянула». Дальше было смешно, потому что ему пришлось потратить некоторое время, уговаривать своих товарищей ехать сюда, в Комарово. Их имена можно назвать. Это вторая скрипка Валерий Киржаков, покойный ныне, к сожалению, это альт Валерий Коновалов, он сейчас живет в Голландии, и поляк Станислав Ферлей, который живет в Лодзи. И вот Ферлей, который вообще плохо разбирался в русской поэзии, пошел советоваться к своей учительнице русского языка, которая по совместительству была секретарем партбюро там, в консерватории. Она ему сказала, что да, есть такая Ахматова, действительно интересный поэт, но вообще в своей жизни она допускала много серьезных ошибок. И с этой информацией Ферлей пришел к Волкову. Но Волков тоже потратил некоторое время, чтобы объяснить, что Ахматова великий поэт, а ошибки ее несуществующие. И поляк успокоился. Коновалов тоже с кем-то посоветовался и говорит: «Мне странно, я о Твардовском знаю гораздо больше, а об Ахматовой гораздо меньше». Опять пришлось Волкову небольшую лекцию прочитать. Но кончилось все хорошо, они взяли свои пультики складные, инструменты и приехали в Комарово. И вот что было, сейчас мы услышим.

На втором диске. Это две минуты.

Соломон Волков (аудиозапись). Мы собрали свои ноты, пультики складные, сели в электричку, поехали к Анне Андреевне. Она, как Шостакович мне рассказывал когда-то, была наряжена в специальное такое какое-то фантастическое кимоно японское. Это был самый, конечно, необычный концерт в моей жизни. Мы играли для аудитории из одного человека.

Причем комнатка была настолько небольшая в этой знаменитой теперь Будке в Комарово, что наши колени почти соприкасались, только пультики разделяли нас. Практически мы сидели как бы квинтетом. Нас четверо и Анна Андреевна, в таком тесном кругу. Поэтому музыка, которую мы стали играть, этот Девятый квартет, она впитывалась Ахматовой как бы непосредственно, то есть ни в каком уже не зале. В зале была бы

дистанция, даже в самом камерном. А тут дистанции практически не было. Пока мы играли – это очень интересно – был ветер, который потом разошелся чрезвычайно, потом вдруг пошел снег, потом пошел град, но когда мы кончили, вся эта непогода утихла и взошла радуга. И только что выпавший белый снег.

Мы вышли на крыльцо вместе с Анной Андреевной, и она после некого молчания сказала своим этим замечательным голосом: «Я только боялась, что это когда-нибудь кончится». Конечно же, и для меня, и для моих товарищей день остался навсегда в памяти. Один из самых дорогих и ценных для меня подарков судьбы, спасибо.

Павел Крючков: Ну вот, чудо происходит дальше, и я надеюсь, что я верно произнесу. Струнный квартет Carpe Diem. Девятый квартет Шостаковича.

Звучит запись игры квартета.

Павел Крючков: Перед тем как мы услышим еще одну запись чтения Ахматовой, имеющую отношение к тому, что сейчас было, и к имени, которым это освящено, Шостаковича, и перед тем, как Александр Жуков и Игорь Хомич в завершение этого вечера покажут свою программу – песни на стихи поэтов – перед этим я хочу попросить депутата Комарова, Владислава Яковенко, сказать несколько слов о книге, которая здесь уже у многих в руках и которая важна сегодня для нас тоже.

(Яковенко рассказывает о втором издании книги о Комарове.)

Павел Крючков: Несколько лет тому назад в Петербурге вышел интересный компакт-диск из двух пластинок. Одна – «Анна Ахматова. «Поэма без героя». Читает автор», другая – «Любимая музыка Анны Ахматовой». На этой второй было что угодно: Шаляпин, Камаринская, Стравинский, конечно, и Бах, конечно, и Прокофьев, что угодно, и все справедливо. Шостаковича там не было. Между тем мы сейчас услышим финал «Поэмы без героя», и Ахматова прочитает кусочек, которым раньше заканчивалась поэма. В нем вы услышите слово «седьмая». В эвакуации Шостакович закончил Седьмую симфонию, ноты были вывезены в Ленинград, в 42-м году она была исполнена в осажденном городе. После «Поэмы» звучит стихотворение «Музыка». Сегодня 70 лет Седьмой симфонии, 70 лет с ее создания. «Музыка» во всех книгах Ахматовой печатается с посвящением «ДДШ», то есть «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу». Я хотел бы посвятить это включение

создателям компакт-диска.

Звучит аудиозапись. Конец «Поэмы без героя».

А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих…

«…»

Голос Ахматовой произносит заключительные слова:
«Окончено в Ташкенте 18 августа 1942 года.
Раньше поэма кончалась так:

А за мною тайной сверкая
И назвавши себя «Седьмая»,
На неслыханный мчалась пир…
Притворившись нотной тетрадкой,
Знаменитая ленинградка
Возвращалась в родной эфир».

Голос Ахматовой:

Музыка

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

Павел Крючков: Теперь прошу готовиться Александра Жукова и Игоря Хомича – чтобы мы услышали здесь песни на стихи поэтов.

Александр Жуков: Добрый вечер, рады вас видеть. К сожалению, в прошлом году нам по разным причинам не удалось приехать сюда, но сейчас встречи возобновляются, начатое несколько лет назад продолжается. Ну и как-то так уже, опять же традиция, такая, что мы с Игорем постоянно здесь несколько песен поем. Имя Осипа Мандельштама сегодня не раз произносилось, это совершенно закономерно, потому что, как сказал Анатолий Генрихович, Ахматова любила и ее любили. Осип Мандельштам в этом плане не был исключением.

Песня на стихи Мандельштама «Как черный ангел на снегу».

А.Ж.: История взаимоотношений Осипа Мандельштама с Анной Андреевной очень интересная во всех планах. И каждый план, как Паша говорит, другая история… Несколько коротеньких песенок споем. Анна Андреевна всегда отличалась крайним лаконизмом, в этом лаконизме всегда большая глубина была заложена… Песня «Там тень моя осталась и тоскует…».

А.Ж.: Песня на стихи «Летний сад».

А.Ж.: И непременное на наших встречах стихотворение… Песня «Двадцать первое. Ночь. Понедельник…».

А.Ж.: Это как бы такой творческий отчет. Что не зря мы сюда ездим. Песенка «Ах, Анна Андреевна, Анна Андреевна». (*Исполняется.*)

Я: Подождите. У меня такое впечатление – а я предпочитаю впечатление самым проверенным знаниям, – что то, что делает Жуков, делается само собой. Поскольку время в моем возрасте склонно к необъяснимым сдвигам, а в этом месте в особенности, мне на миг показалось, что не запись рассказа Волкова на пленку он устроил, а тогда, в 65-м году, приезд квартета сюда, чтобы Шостаковича сыграть для Ахматовой, – что это ему в голову пришло и он их пригласил. У него – повторяю: впечатление – так получается. (*Аплодисменты.*)

А.Ж.: Я в таких случаях говорю, если кто-то хочет за меня выпить: «С большим удовольствием»… А вообще – как же не ответить на вызов? Я эпизод один, произведший на меня, тоже повторю, сильное впечатление, узнал, еще не прочитав воспоминаний Ахматовой о Модильяни, а со слов Анатолия Генриховича. Как Анна Андреевна, будучи в Париже и

познакомившись с Модильяни, как-то раз пришла к нему, а его не было дома, окно открыто. Ну, известный эпизод. У нее в руках был букет роз. И она стала по одной розе бросать в окно. А вечером, когда встретились, он говорит: «А как вы в комнату попали-то? Закрыто же было». Она рассказывает. А цветы легли на пол один к одному… Ну и в этой связи песня «Я покажу тебе Париж». (*Исполняется. Аплодисменты.*)

А.Ж.: Ну вот, пожалуй, и все. Спасибо, друзья мои.

Голос из публики: «Одну, еще одну».

А.Ж.: Еще одну? Ну тогда… тогда что-нибудь такое… Вам добрые пожелания, а песня – «Что такое счастье…». (*Исполняется. Аплодисменты.*)

Павел Крючков: Спасибо. Как говорит обычно Найман в таких случаях: «Все. До свидания».

2012

Павел Крючков начал свою речь с покосившейся Будки и ее выпрямления, кратко рассказал историю приуроченных к дню рождения Ахматовой наших комаровских встреч, вспомнил имена принимавших участие. Кончил тем, что 2012 год – столетняя годовщина с выхода в свет первой книги Ахматовой «Вечер». И предоставил слово мне.

Я читал по написанному. «Книга «Вечер» вышла в свет 100 лет назад, то есть появилась ниоткуда книжка стихов, которую мы сейчас знаем, хорошо себе представляем и дополняем воображением, думаем о ней. В частности, и как о сколько-то легендарной. Потому что в ней, было, например, стихотворение «Сероглазый король», или «Рыбак», или «Сжала руки», или «Муж хлестал меня узорчатым» и так далее. То есть стихи, над которыми надо сделать усилие, чтобы убедить себя, что было какое-то время, когда этих стихов не было, вообще не существовали, ни в каком виде, и негде было о них узнать. Еще была там дюжина стихотворений, которые уже через несколько лет трудно было признать не существовавшими когда-то.

Так же как сейчас трудно вообразить, что Ахматову нужно было выводить к публике как начинающую поэтессу. Трудно вообразить читателей, которых в предисловии знакомил с ней и с ее, как он назвал, «острой и хрупкой поэзией», Михаил Кузмин. Он кончал свое предисловие: «Сударыни и сударь, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэтом. А зовут его Анна Ахматова».

Для меня это второй юбилей «Вечера». Юбилей, как известно, не просто круглая дата, в каковом это слово общепринято употреблять сейчас, а годовщина, кратная пятидесяти. Я в первый раз увидел Ахматову и разговаривал с ней в 59-м году. К 62-му между нами установились отношения дружеские, доверительные и достаточно короткие. Бывали периоды, когда мы виделись каждый день или через день-два. Я находился в курсе ее текущих дел, главным образом, литературных. В 62-м году исполнялось 50 лет со дня рождения сына, со времени поездки в Италию и со времени выхода в свет первой книжки. Начало 1960-х годов – это пятидесятилетие Серебряного века, и одновременно пятидесятилетие возникновения самой Ахматовой как поэта и как литературно-исторического явления. Оценка десятых годов с расстояния прожитой жизни неотступно занимала ее. Им посвящено много сделанных тогда ею записей. Мы знаем, что событие, случившееся полвека назад, люди, нас окружавшие,

атмосфера, эпизоды, звучавшие фразы, освещенность того или иного мгновения, сплошь и рядом возникают в нашем сознании более яркими, чем происходившее неделю или даже пять минут назад. Ярче, чем картина, воспринимаемая нашим зрением сию минуту.

Ахматова погружалась в то время и при этом наблюдала появление нашего поколения, только вступающего на поприще поэзии. Ее общение с молодыми поэтами, конкретно с узкой компанией – Бобышев, Бродский, Найман, Рейн – было достаточно регулярно и насыщенно. Мое впечатление, мое убеждение, которое в продолжение полувека только укрепляется, что то, что вставало в ее памяти, ее воспоминания о 1910-х годах, о начале их времени поэтов-акмеистов, 20-летних, и встреча с нами накладывались, в той или иной степени, одно на другое. Я ограничусь в качестве доводов двумя примерами, я уже говорил здесь о них. Это ее надписи на подаренных мне книжках «Anno Domini XXI», первое издание, и «аполлоновский» оттиск поэмы «У самого моря». На первой – «<…> в начале его пути. Анна Ахматова». На второй: «<…> а теперь мое начало у Хрустальной бухты». Число и месяц одни и те же – это день моего рождения. Год под первой – 1963-й, под второй – 1965-й. В этом промежутке я успел забыть, что было надписано два года назад, но она помнила, потому что поэтические начала – это то, что можно сопоставлять независимо от того, насколько публично, громокипяще, плодоносно было одно и почти подпольно, подспудно, десятилетиями не реализовано другое. Независимо от того, какие сроки, эпохи и испытания их разделяют.

Другой пример. В 50-х годах Ахматова оставила в записной книжке биографический набросок: с конца XIX века меньше всего изменилась одежда и больше всего способы передвижения. Но где-то в 63-м я от нее услышал: «Очень переменилась одежда, неожиданно и быстро. Я не могу представить себе Колю одетым, как вы, в куртку и свитер». Запись об одежде как будто противоречит этой реплике, однако в действительности в них речь идет о разных вещах. В записи – о том, что если современного человека нетрудно представить себе вышедшим на люди в дедушкином пальто, то едущим в шарабане среди автомобилей невозможно. Реплика же – непосредственное сравнение мод и живых фигур. И фигуры выбраны опять-таки из кругов, сопоставляемых в ее сознании: молодых поэтов 1910-х годов, как их запечатлела ее память, и тех, которых она видит перед собой через полстолетия.

Косвенное подтверждение ее интереса именно к нам, двадцати-с-чем-то-летним, я получил там, где не мог

предположить. Я был захвачен врасплох и обескуражен скандалом, который, не желая того, спровоцировал. Дело было в квартире Маргариты Алигер, где Ахматова короткое время обреталась. Я навестил ее и был приглашен хозяйкой к обеду. К столу вышли еще две дочери Алигер и украинский поэт, я не запомнил его имени. В этот день на сценарные курсы, которых я в то время был слушателем, приходил Борис Слуцкий, рассказывал нам о социальной роли современной поэзии. Сделал упор на том, как вырос спрос на стихотворные сборники. 50-тысячные тиражи не удовлетворяют его, а всего полвека назад «Вечер» Ахматовой вышел тиражом 300 экземпляров. Он сказал: «Она мне рассказывала, что перевезла его на извозчике одним разом». В середине обеда, скучного и неживого, в большой холодной комнате, я, как мне показалось, к месту пересказал его слова. «Я? – воскликнула Ахматова. – Я перевозила книжки? Или он думает, у меня не было друзей-мужчин сделать это? И он во всеуслышание говорит, будто это я ему сказала?» «Анна Андреевна! – накладываясь на ее монолог, высоким голосом закричала Алигер. – Он хочет поссорить вас с нашим поколением». Он был я. Но эта мысль показалась мне такой нелепой, что я подумал, что тут грамматическая путаница. Я не собирался ссорить Ахматову со Слуцким, и меньше всего мне приходило в голову, что Слуцкий и Алигер одного поколения, вообще одного чего-то. Но в картине мира старших я был представителем поколения, которое Ахматова предпочла им.

Историю «Вечера» сама она передает так: «В зиму 1910–1911 годов я написала стихи, которые составили книгу «Вечер». 25 марта вернулся из Африки Гумилев, и я показала ему эти стихи. Стихи я писала с 11 лет, совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он со свойственной ему неподкупностью и прямотой говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла в Брюлловском зале Русского музея корректуру «Кипарисового ларца» <Анненского>, когда приезжала в Петербург в 1910 году. И что-то поняла в поэзии. В сентябре Николай Степанович уехал на полгода в Африку, а я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Когда Гумилев вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи. Я прочла ему все сделанное мною, и он по их поводу произнес: «Ты – поэт, надо делать книгу». Слова, от которых, по-видимому, никогда не отказался. «Эти бедные стихи, – продолжает Ахматова, – пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз (если я видела все контрафакционные издания). Сама девочка, насколько я помню, не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они

впервые были напечатаны. Чтобы не расстраиваться. От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию весной 1912 года, а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые, у них не выходит книжка».

Существует еще один апокриф: Ахматова так надоела Гумилеву жалобами на то, что должна выпускать книжку с такими плохими стихами, что он сказал: «Вставь для улучшения «Анчар» <то есть пушкинский> и успокойся». Не упустим из вида и то, что в этом году исполняется 100 лет самому имени Ахматова. Она рассказывала, что, опубликовав стихи под именем Анна Горенко, услышала от отца, который не принимал ее опыты всерьез и не больно-то ценил: «Я тебе запрещаю так подписываться, не хочу, чтобы ты трепала мое имя». Тогда, как пишет ее современница, она стала «Анна Ахматова», и этот псевдоним вписала в лучшие страницы русской поэзии. Не отказалась от него и позже, когда вышла замуж за Гумилева.

Стремительному публичному признанию Ахматовой сопутствовало выявление ее поэтической сущности в отзывах самых проницательных критиков и поэтов, полнее всего в знаменитой статье Недоброво. Они открыли для читателей глубину и диапазон ее голоса, изменившего тональность русской поэзии, ее масштаб, позицию, историческое место, ее корни. Но это было время великих сдвигов вообще, в частности и поэтических. Надвигался новый стиль, поэтическая речь менялась радикально. Авангард делал ставку на неожиданный шокирующий удар по читательскому восприятию. Футуристы не прятали своих боевых приемов, обнажали мускулатуру. Публика быстро привыкла к тому, что помимо образности, интонации, напряжения поэт демонстрирует и то, как, с помощью какого усилия и изощренности он добивается выразительности своего словаря и синтаксиса. Мандельштам, Цветаева, Пастернак не занимались этим специально, но в их стихах это также проявлялось наглядно. Стихи Ахматовой были другой породы, по виду традиционной: картинка, рассказ, психологический этюд.

В 1960 году она писала в письме: «Кроме всех трудностей и бед по официальной линии со мной всегда было сплошное неблагополучие и по творческой, и даже, может быть, официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказалась довольно скоро на крайне правой позиции, не политической. Левее, следственно, новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор новатор par excellence <по преимуществу>. Оттого идущие за нами «молодые» <она берет это слово в кавычки>, были всегда так остро и непримиримо

враждебны ко мне, например, Заболоцкий и, конечно, другие обэриуты»».

Среди причин пинков, атак, развенчания, наскоков последнего времени на Ахматову на первом месте, конечно, та, что, как всякий поэт такой величины, она, что называется, мешает. Без нее стихотворцы, рассуждатели о поэзии, объявители себя заметной фигурой, просто любители как-то выделиться при умеренной одаренности, чувствовали бы себя свободнее. Мешают ее судьба, позиция, величие, наконец, сам характер ее таланта. Очень возможно, что нынешним женщинам, особенно тяготеющим к феминизму (а какая из них сейчас так или сяк к нему не тяготеет?), не по душе лирическая героиня Ахматовой, покорная на вид, внутренне же непреклонная. Не по душе и покорность, тихость, и непреклонность, несгибаемость.

Еще одна причина, более понятная: она жила давно, она умерла 44 года тому назад, она для нынешних начинающих почти то же, что для нас был Фет. Что я любил сказать о Фете, когда мне было 20 лет? Что он норовил (из письма его беру) на Пасху уезжать из деревни, «чтоб не христосоваться с мужичками». Но допускаю, что не в последнюю очередь раздражение и враждебность вызывает то, что Ахматова не поддается представлению большинства о новаторстве, об авангардности.

Подлинность поэта проверяется несколькими показателями. Среди первейших – расстояние между сочетаемыми в строке словами. Оно должно быть максимальным, чтобы их замыкала вольтова дуга, но не больше критического, когда разрывается всякая связь и искра вообще не проскакивает. Гениально управлялся с этим Мандельштам. Читатель может ткнуть пальцем в строчку – во как! Такое напряжение обеспечивает легкость и скорость перемещения массивных пластов поэтической материи. Высочайшие образцы этой работы представляют «Стихи о неизвестном солдате» и примыкающие к ним в «Воронежских тетрадях», но тот же механизм можно обнаружить и в более ранних. Я это покажу на примере четверостишия, поскольку мне после этого надо будет показать это на примере ахматовских стихов. Итак, Мандельштам:

> Золотистого меда струя с бутылки текла
> Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
> Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
> Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

Строфа завязана на слове «молвить». Она выводит нас за границы конкретного времени, августа 1917 года, помещая в

любую из приходящих на ум эпох. В частности, в античность, когда печальная Таврида была окраинной колонией Греции, а струя золотистого меда ассоциировалась привычным образом с медом поэзии. На это указывает и «через плечо поглядела», оглядка, взгляд в прошлое, включая и самое далекое. Четверостишие и все стихотворение вовлекает в темп протекания времени, назначенное поэтом, – тягуче и долго. Попадая под эту магию, мы опять восхищаемся: «Во как!»

У Ахматовой же все это незаметно, скромно, выглядит как само собой разумеющееся, отчего, в сравнении с тем же Мандельштамом, не говоря уже об остальных, вызывает реакцию сдержанную: что-то не так. Нет сомнений, что первооткрыватели Ахматовой, самой ранней, исследователи ее творчества без труда нашли бы приведенные нами причины такого поворота дел. Но в начале 1910-х никто его не предвидел и не предугадал. В письме Ахматова продолжает: «Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув, слегка припахивающие доносом обвинения во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна испуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в литературном обозе». Так что попробуем сейчас с опозданием в 50 лет коротко в этом разобраться.

В прошлом году писатель, зрелый, уверенный в себе, умный, сказал мне: «Для меня достижения Мандельштама, Пастернака, того, этого, самоочевидны, не могли бы вы показать мне, что сделала в этом плане Ахматова?» Я готов был начать со стихотворения совсем раннего, 10-го или 11-го года, из книги «Вечер», которое начинается «мальчик, что играет на волынке, и девочка, что свой плетет венок» и так далее. Я мог бы продемонстрировать на этой дюжине строчек – переход некрасовского распева в тоску по мировой культуре, о которой говорил Мандельштам, – укутанной в ахматовскую затрапезную одежду. Но предпочел (и предпочитаю) выбрать написанное на три года позднее. Стихотворение из моих самых любимых, я уже надоел этим признанием здешней аудитории. То, во что превратились стихи «И мальчик, что играет на волынке», какое они прошли развитие. Я прочту это стихотворение лишний раз:

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый…
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно

И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

Первая строфа – это очерк идиллии, возможно с натуры, то есть строфа, где «с девушкой через забор сосед». Возможно сделанный с натуры, но возможно и с холста Бастьена Лепажа из Пушкинского музея в Москве. То есть все равно – Россия это или Франция, двадцатое столетие или одно из предшествовавших. Пчелы, как и в мандельштамовском стихотворении, олицетворяют сладостный аккомпанемент их беседе, их звон переплетен со словами.

Вторая – «а мы живем торжественно и трудно», не испрашивая нашего согласия, – почти деспотически переносит в Петербург, начало Первой мировой войны, не дающей речи излиться, обрекающей немоте.

Третья – «но ни на что не променяем пышный» перемещает действие в перспективу Истории, с большой буквы, захватывая туда с собой и первые две. Ветер, сумрачность, льды – пейзаж Гипербореев, увиденный с юга, из края, где сияющее небо, веет Эол, нежит тепло с родины муз. Копнуть поглубже, и откроется значение обрядовых, пусть и заурядных встреч. Славная и горестная судьба петербургского периода. Его столичный блеск и тюремный гранит.

Всего этого Ахматова добивается обыденными на вид средствами, будничным тоном, повседневными словами. Результат тот же, а может быть, и более значительный, чем у ее современников-чемпионов, но без их эффектности. А нам подавай эффектность: «Вселенная спит, положив на лапу, с клещами звезд огромное ухо». Еще бы, это наше представление о силе.

Мы говорим «сильное стихотворение», «сильный поэт» как похвалу, только крохотная трещинка в душе не дает до конца этим насладиться. Три нежных слова, которыми завершает ангел откровение пророку Илье: «Господь пройдет и большой, сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения – огонь, но не в

огне Господь, после огня <вот эти три слова> *веяние тихого ветра*».

Книга называется «Вечер». В стихотворении о мальчике с волынкой, которое я сегодня так и не прочел, – строчка: «И в дальнем поле дальний огонек». В соседнем – «Высоко в небе облачко серело, как беличья расстеленная шкурка». Вот – Ахматова…»

Павел Крючков: Никоим образом не собирался я говорить то, что сейчас скажу. И не сказал бы, если бы не услышал прозвучавшего сейчас со сцены. Так сложилось, что мы действительно команда и я, как младший, всегда советуюсь с Анатолием Генриховичем при выборе записей. Рассказываю, что приготовили мы с сотрудниками отдела звукозаписи Литмузея, что нашли в других местах для этого дня. Сегодня первый раз за эти годы я не сказал Найману, какие стихи будут звучать. Только общий контур был нам известен. И – удивительное совпадение, я пребываю в изумлении и радости. А вдуматься – так и должно было произойти.

Но все по порядку. Действительно, следовало ожидать, что сегодняшнее прослушивание выстроится вокруг книжки «Вечер», что было бы правильно и разумно услышать, как Ахматова читает стихи из этой книги. Но сверх этого мы, например, услышим запись, которую вообще никто не слышал, и это даже не совсем голос человека, а, как я говорил в прошлый раз, «эхо эха» его голоса, запись из двадцатого года. Мы попробуем в честь Ахматовой разобрать слова поэта Михаила Кузмина, автора предисловия к книге «Вечер», услышать кусочек его живого голоса. Помогать мне будет Даниил, мы условились обмениваться знаками, потому что есть большой риск не услышать того, что сейчас прозвучит.

Но начнем давайте, как и положено, двумя стихотворениями, входившими и в самые первые издания и которые Ахматова неизменно включала в тот раздел своих сборников, который назывался по названию этой книги «Вечер». Она его расширяла, меняла, но эти два стихотворения оставались неизменно.

Голос Ахматовой:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

«…»

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар, тебе идет.

И всегда, всегда распахнут
Ворот куртки голубой,
И рыбачки только ахнут,
Закрасневшись пред тобой.

Даже девочка, что ходит
В город продавать камсу,
Как потерянная бродит
Вечерами на мысу.

Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.

Но она уже не ловит
Их привычною рукой.
Все сильней биенье крови
В теле, раненном тоской.

Павел Крючков: Это стихотворение «Рыбак», из самых известных и популярных. А теперь я хочу включить голос человека, которого – здесь есть люди, вот на этом пространстве, – которые его знали лично. Со дня его кончины прошло 40 с небольшим лет, а познакомился он с Ахматовой как раз в год выхода этой книжки. Первый раз он написал о ней статью в 21-м году – «Две России – Ахматова и Маяковский». А в 60-е – эссе под названием «Читая Ахматову». Это Корней Чуковский. Данила, пожалуйста.

Голос Корнея Чуковского:

Я познакомился с Анной Ахматовой в 1912 году. Помню ее тоненькой, очень похожей на девочку, и могу засвидетельствовать, что уже тогда, в годы ее первых стихов, она была все так же мужественна, верна себе и величава. Когда появились ее первые книжки, меня, я помню, больше всего поразила четкость ее поэтической речи, конкретность, осязаемость всех ее зорко подмеченных, искусно очерченных образов. В сущности, ее стихотворения очень часто бывают новеллами, повестями, рассказами со сложным сюжетом, которые приоткрываются для нас на минуту одним каким-нибудь намеком, одним многоговорящим незабываемым образом. Ее стихи о канатной плясунье, о рыбаке, в которого влюбилась продавщица камсы, о женщине, бросившейся в замерзающий пруд, – все это сюжетные рассказы, сгущенные в тысячу раз и каким-то образом преображенные в лирику. Этот лаконизм поэтической речи, эта конкретность, осязаемость, вещественность образов, эта непростая простота языка, доступная лишь большим мастерам – все это резко отличало Ахматову от поэтов предыдущей эпохи, которые тяготели к расплывчатым символам, туманным и зыбким абстракциям. Поэтому в первое десятилетие нашего века ее поэзию встретили так радушно и радостно.

Павел Крючков: Ну вот, а сейчас попытаемся сделать совершенно невозможную вещь. Вообще, слушать запись, не видя изображения, – это странное занятие, но как-то получается. Я скажу предисловие и прочитаю стихотворение, затем – что осталось от голоса Михаила Кузмина.

Читаю абзац из Ахматовой: «У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель. Мне, например, из моей первой книги «Вечер» сейчас <она говорит это в конце 50-х годов> по-настоящему нравятся только строки: «Пьянея звуком голоса, похожего на твой». Мне кажется, что из этих строк выросло очень многое в моих стихах».

Теперь это стихотворение Кузмина 16-го года, из которого две строфы, снятые с хрупких фоноваликов, покрытых воском, мы сделаем усилие расслышать и ухватить слова. Я дойду до строфы, которую Даниил будет включать, прочитаю ее, и в том шелесте, в шуме времени, который придет, вы постараетесь угадать и совпасть с тем, что я прочитал. Стихотворение из сборника Кузмина «Плод зреет».

Мы в слепоте как будто не знаем,
Как тот родник, что бьется в нас, —
Божественно неисчерпаем,
Свежее и нежнее каждый раз.

Печалью взвившись, спадает весельем…
Глубже и чище родной исток…
Ведь каждый день – душе новоселье,
И каждый час – светлее чертог.

Из сердца пригоршней беру я радость,
К высоким брошу небесам
Беспечной бедности святую сладость
И все, что сделал, любя, я сам.

Звучит запись Кузмина:

Все тоньше, тоньше в эфирном горниле
Синеют тучи над купами рощ, —
И вдруг, как благость, к земле опустили
Любовь, и радугу, и дождь.

Я понимаю, что это почти безумие, но мы услышали кусочек вот этого 1920 года. В книгу «Вечер», в самое первое издание, которое я держу в руках, цикл «Читая Гамлета» не включен, во все последующие «Вечера» он входит. Ахматова стала изучать английский, чтобы читать Шекспира. И в этом маленьком диптихе вы услышите разговор Офелии с Гамлетом и слова Гамлета, парафраз на них. Одним словом, это тоже запись, сделанная в 60-е годы. Ахматова «Читая Гамлета».

Голос Ахматовой:

Читая «Гамлета»

(*Первое*)

У кладби́ща направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака…»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, —

Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.

(*Второе*)

И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты…»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор…
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.

Павел Крючков: Число 100 прозвучало сегодня и в самом первом прочитанном стихотворении «Смуглый отрок…»: «…и *столетие* мы лелеем». Мы сейчас услышим голос нашего современника, близкого Ахматовой человека. В 89-м году Бродский написал стихотворение на столетие Анны Ахматовой. А через пять лет после этого в документальном фильме, снятом шведами, сказал – не о ней, а о ее стихах – некоторые слова. Но сперва реплика Анатолия Генриховича.

Анатолий Найман: В Ноттингеме была конференция в 89-м году. Бродский был в Лондоне, а я на конференции. Он прислал это стихотворение, мы по телефону условились, что я его прочту. Просто трогательно вспомнить – напомнить самому себе, как это было и как это прозвучало в Ноттингеме. И, можно допустить, в каком-то виде коснулись чужеземные слова ушей Робин Гуда в тамошнем Шервудском лесу.

Павел Крючков: Спасибо. И спасибо, скажу пользуясь случаем, библиотеке Imwerden, благодаря которой мы достали запись авторского чтения Бродским этих стихов. Сначала его реплика об Ахматовой, а потом сразу без перерыва он читает это стихотворение. Не очень хорошего качества запись, но вы все расслышите, читать мне предварительно не нужно.

Звучит запись Бродского:

Что такое Борис? Борис – это тайна микрокосма. Мандельштам – это: сухая влажность черноземных га. Марина – это: на твой безумный мир ответ один – отказ. Что такое

Ахматова? Это гораздо труднее сформулировать. Очень редко вы найдете у нее автопортрет. В ранних стихах, возможно… Мне чрезвычайно трудно найти одну строчку, которая сформулирует для меня Ахматову. Это всегда сумма стихотворений. У нее нет этой тенденции сформулировать себя в одной строке. В этом опять-таки сказывается, с одной стороны, скромность, с другой – присущая ей сдержанность.

Бог сохраняет все

На столетие Анны Ахматовой

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

…
(*Пауза*)

Павел Крючков: Зависло, да? Оборвалось.

(*Снова та же запись, снова обрывается.*)

Павел Крючков: Не впускает она сюда это стихотворение, не знаю почему. Я на память его не помню, а то бы прочитал, конечно. Там важные слова в конце. «Великая душа, поклон через моря / За то, что их нашла, тебе и части тленной…» Не вышло, что делать. Не знаю, почему так произошло.

Двигаемся дальше. Есть такая строчка у Арсения Тарковского в стихотворении, имеющем отношение к Ахматовой. «Живите в доме – и не рухнет дом». Я прошу сказать несколько слов Валерия Попова.

Валерий Попов: Конечно, главное счастье наше, нашей сегодняшней минуты, что дом не рухнул, что он стоит, что мы встречаемся 23 июня опять, что год не убил нас, не убил поэзию, не убил наши души. Вот, я считаю, что главное, для чего я родился, вот для такого момента, когда я сидел на этом крыльце, увидел, как Ирина Снеговая ведет экскурсию. Я пошел с ней на кладбище, слева могила Ахматовой, и вдруг увидел идущего ко мне, вернее к Ахматовой, Диму Бобышева. И с Димой Бобышевым шел симпатичный человек в очках, это был Александр Петрович Жуков. Благодаря этому случаю, явно божескому, существует эта

Будка, которую восстановил Александр Петрович, и существует каждый наш, каждодневный, каждогодный праздник. И, может быть, действительно, как у Ахматовой, не умрет ее надежда, что «здесь все меня переживет – все, даже ветхие скворешни…». Видите, скворешни стоят, и пока они стоят – поэзия будет жива.

Нам не нужно мрамора. Мрамор поэту нужен только после смерти. А вот дерево… Пушкин писал примерно в таком же доме. Я поразился, когда увидел его дом. Он примерно такой же, и неплохо писали люди, да? Не надо роскоши, не надо мрамора. Пусть это будет всегда. Я вспоминаю стихотворение другого гения, знакомого друга Анны Андреевны. Стихотворение называется «Дерево». Помните?

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
Я дерево пою.

Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

Вот это дерево пускай нас сохранит, сохраняет, оно не горит, а это лучшее для поэзии вещество. Поэтому я надеюсь, что вещи всегда будут легки, что материя нас не задавит. Никакая роскошь, богатство, ничего, никакие силы не уничтожат этот деревянный рай, в котором мы сейчас с вами находимся. Это лучшее место для творчества, лучше не бывает. Не надо ничего менять. Если останется так, будет счастье для поэзии, для литературы. Я могу сказать, что счастье и для меня, потому что, сидя у окошка, я закончил, написал четыре книги, действие которых связано с Комаровом. Так или иначе задействовано Комарово. Что бы я делал без Комарова? Понимаете? В числе других авторов, которые здесь живут. Вот такая у меня есть книга, «Комар живет, пока поет», где действие происходит на этой террасе, на этом крыльце. Почитайте, без этого вот крыльца, без этой террасы не было бы четырех последних моих книг. «Комар живет, пока поет», «У меня есть такая рубашка». Давайте! пока мы поем – мы живем.

Павел Крючков: Ну, идите уже. Они говорят: имени их не называть, просто молодые люди, которые поют то, что любила слушать Ахматова. Вы знаете, кто это выйдет. Многие их любят, идите уже.

Выходит вокальный ансамбль «Dedooks».

Мы споем фрагменты из любимой оперы Анны Ахматовой. Называется она «Дидона и Эней», композитор Генри Перселл. Семнадцатый век, английское барокко.

Исполняются арии и хоры из «Дидоны и Энея».

Павел Крючков: Ну, кто еще сидит под хорошими зонтами, давайте послушаем голос молодой Ахматовой. Голос из 1920 года. В отличие от Кузмина, его можно расслышать. Те, кто в поздние годы записывал ее авторское чтение, обратили внимание, что интонация и протяженность чтения стиха не изменились со времени ранних ее чтений. Сейчас это будет голос тридцатилетней женщины. Стихотворение 13-го года, примыкающее к стихам столетней давности, о которых мы сегодня говорим. Это триптих «Смятение», которое открывает «Четки».

Не получается? Залило. А какой был дождь в первую встречу! И Анатолий Генрихович говорил: «Да ничего!» Стоял при этом мокрый как мышь. Это когда Аксенов был здесь, помните, да? Это был счастливейший день… О, что-то шелестит, рискнем, да? Значит, только финал. Вы прекрасно знаете, это то самое знаменитое стихотворение, где во второй части есть строчка: «О, как ты красив, проклятый».

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
И загадочных древних ликов
На меня поглядели очи…

Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его – напрасно.
Отошел ты, и стало снова

На душе и пусто и ясно.

Она читает эти стихи через 8 лет после книги «Вечер», но интонация та же.

Сейчас еще одна запись голоса. Корнея Чуковского. Она объяснит, почему я в самом начале нашей встречи так удивился после того, что читал и говорил Анатолий Найман.

Запись голоса Чуковского:

В начале ее творческой жизни ее огромный музыкальный лирический дар сказался главным образом в стихах, посвященных томлениям, мукам, безумствам, радостям и тревогам любви. Здесь власть ее лирики была беспредельна. Молодежь двух или трех поколений влюблялась, так сказать, под аккомпанемент стихотворений Ахматовой, находя в них воплощение своих собственных чувств. Сквозь все любовные стихотворения Ахматовой проходит мечта о любви как о чистом и возвышенном чувстве. *Ведь где-то есть простая жизнь и свет, / Прозрачный, теплый и веселый… / Там с девушкой через забор сосед / Под вечер говорит, и слышат только пчелы / Нежнейшую из всех бесед*.

Павел Крючков: Ну, и сразу следующий трек. Мы действительно ни о чем подобном не договаривались.

Запись голоса Ахматовой, читающей стихотворение «Ведь где-то есть простая жизнь и свет».

Павел Крючков: Ну вот видите…

И последнее, что я бы хотел, чтобы мы сегодня услышали. Тихо прошел юбилей Арсения Тарковского. Но, наверное, здесь многие знают, что в свои уже поздние годы Ахматова написала рецензию на его первую книжку. Редкий для нее случай. Записи стихотворения Тарковского 1960 года, которое побудили к жизни ахматовские стихи, к сожалению, нет. Не записан и квартет, четыре стихотворения Тарковского памяти Ахматовой. Но записано другое стихотворение, по свидетельству некоторых современников, опосредованно обращенное к Ахматовой. Оно касается темы страха смерти. Эти стихи звучат в фильме «Зеркало». Если их разыскиваешь, за ними всегда лежит музыка Артемьева. Нам удалось найти в домашнем чтении стихотворение «Жизнь, жизнь». И этим я заканчиваю сегодняшний показ вам архивных аудиозаписей, или, как мы их называем, «звуковых

автографов».

Звучит запись голоса Тарковского:

Предчувствиям не верю, и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет:
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду и внуку:

Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью,
Ключицами своими подпирал,
Измерил время землемерной цепью
И сквозь него прошел, как сквозь Урал.

Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стременах.

Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б ее летучая игла

Меня, как нить, по свету не вела.

Павел Крючков: Традиция вещь великая, на ней все и стоит, ритуал – ее заключительное проявление… Александр Жуков и Игорь Хомич. Может быть, мы услышим стихи Ахматовой в их исполнении – может быть, и из книги «Вечер».

Александр Жуков: Вспомнил стихи Егорова «Я вас люблю, мои дожди».

Я что хотел добавить про удивительные совпадения. Сто лет книги «Вечер» Анны Ахматовой, выступал Анатолий Генрихович Найман. Он упомянул стихотворение «Рыбак», две строчки прочитал стихотворения «И мальчик, что играет на волынке». Потом Паша Крючков дал послушать, как «Рыбака» читала Анна Андреевна, замечательно. Я его никогда с ее голоса не слышал, честно говоря, уж не знаю почему. Но, когда просматривал в очередной раз книгу «Вечер», этот «Рыбак» как-то в меня вошел, – как во множество людей со времени его написания. Мы, наверное, его споем где-то к концу. А сейчас – наша небольшая программка обычная.

Закричат и захлопочут петухи,
Загрохочут по проспекту сапоги…

«…»

Я к розам хочу в свой единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград…

«…»

А это уже «Вечер».

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек,—

Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу,

Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно… Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

Ну, а «Рыбак» – это 11-й год. Каждый год туда ездила, все детство, начало юности. Севастополь, Стрелецкая бухта, древний Херсонес. Именно эти воспоминания и навеяли стихотворение, именно эти летние месяцы.

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.

«…»

Ну, а о ее Париже, о близости с Модильяни, о розах, разбросанных ею в его мастерской через открытое окно, я готов здесь каждый раз вспоминать. «Как же вы открыли дверь?» Давайте мы про Париж и споем.

Я покажу тебе Париж,
Открою двери его тайны.

«…»

Павел Крючков: Еще раз с днем рождения Анны Ахматовой – нас всех. До свидания.

2013

На этот раз собрались 22 июня. А это день начала Великой Отечественной войны, о чем и Павел Крючков упомянул, и мэр Комарова. Потом Крючков пригласил к микрофону меня – сказать, «что я сочту нужным». Подыскивать очередную круглую дату мне казалось искусственным, я еще дома приготовился, по возможности «отцепившись» от очередных вековых юбилеев, поговорить более свободно.

«Среди круглых дат, связанных со столетием Серебряного века и конкретно с началом ахматовской поэзии, – я бы не хотел ограничиться только напрашивающимися и оставить в стороне, возможно, самую важную.

Весной 1914 года поэт и критик Николай Владимирович Недоброво написал статью-эссе «Анна Ахматова». О том, что значил для нее его анализ стихов, составивших две ее первые книжки, то есть «Вечер» и «Четки», и какую роль сыграло предсказание или, если угодно, установка на будущее, она говорила на протяжении всей жизни. Ее оценка, так или иначе, сводилась к выразительно-краткому признанию: *он*, может быть, и сделал Ахматову.

И при ее жизни, и после смерти, если к статье Недоброво обращались, то лишь затем, чтобы по возможности как-то расширить его наблюдения и прогнозы. Или хотя бы подтвердить их лишний раз, или что-то им противопоставить, – не говоря о том, чтобы опереться на них в собственных выкладках.

Но время, прошедшее от дней ее написания, особенно вторая половина этого срока, вместившая посмертную судьбу Ахматовой, высвечивает перед нами те положения автора, которые всегда оставались в тени и невостребованными. Те, что могли выглядеть актуальными в начале 1910-х годов, но либо показались в них замурованными, либо приобрели другое, иногда прямо противоположное содержание. В первую очередь это то, что человек, *сделавший Ахматову*, называет «даром геройского освящения человека». Я цитирую Недоброво: «Прочитав стихи, мы заполняемся новою гордостью за жизнь и за человека. Крупные события только тогда бывают великими, когда в прекрасных биографиях вырастают семена для засева народной почвы. Стоит благодарить Ахматову, восстановляющую теперь достоинство человека». Конец цитаты. Напечатание статьи было отложено на год по причине начала Первой мировой войны. Недоброво пишет: «История снова заполнила жизнь человечества такими жертвенными делами и такими роковыми, каких и видано прежде

не бывало. Люди, действительно, оказались беспредельно прекраснее, чем о них думали. Это в особенности относится к русскому молодому поколению. К Ахматовой надо отнестись с тем большим вниманием, что она во многом выражает дух этого поколения и ее творчество любимо им…»

Смерть Ахматовой в 1966 году пришлась на время перелома, происшедшего в несколькотысячелетней последовательности цивилизаций, которые порождали героев и ориентировались на них. От Ноя и Прометея до Эйнштейна и Че Гевары. Последнее десятилетие мы в своем избегании пафосности или того, что нам кажется ею, живем не просто в отсутствии героев, а в отсутствии надобности в них. Заявление об ахматовском даре героического изображения человека выделяется в статье Недоброво своей внушительностью. Кратко и убежденно выраженное, оно противопоставляется предшествующему описательному пассажу о свойственном второй половине XIX века дефиците благожелательной, не говоря уже – восхищенной оценке людей. Казалось бы, столь редкое и ответственное высказывание о героичности лирического героя Ахматовой, особенно в сопоставлении с названием главной и привязанной к началу 1910-х годов ее «Поэмы без героя», – не должно было уйти в забвение. Однако ушло, и с необычайной легкостью. Причина этого та же, что и попытка пересмотра значения Ахматовой, поворота в сторону неприязни и враждебности. То, что Недоброво называл романтическим чувством к настоящему, которому так привольно расти не пригнетенному духовно человеконенавистничеством, обмануло его. Надежда, загоревшаяся в его и его единомышленников глазах, потерпела крах. Наступило торжество второсортности и посредственности.

Нынешний взгляд на людей, оценивающих их с точки зрения успеха, причем злободневного, то есть сиюминутного, несовместим с тогдашним, искавшим в людях подлинность, нацеленным на добродетель – равно и порок – масштаба самого крупного и силы самой могучей, на самоотречение непобедимое, на предательства неизбываемые. Критерии были ориентированы на античные, в том виде, как их откорректировали просвещение и романтизм. Именно на это указывает замечание Недоброво о эпической составляющей ахматовской поэзии, предрекающей ее обращение в будущем – к формам поэмы и драмы. Он сказал это за тридцать лет до «Поэмы без героя» и «Пролога». «Пролог» не скрывает своего происхождения от древнейшего «Гильгамеша», а «Поэма» завершает развитие этого европейского жанра, начавшегося с «Энеиды». Ахматовский замах оказался нашему обществу, а может быть, и культуре, сложившимся к концу XX –

началу XXI века, – не по плечу.

Обвинять Ахматову в мифологизации собственного образа, как это делают теперь, так же абсурдно, как Дидону в том, что она нарочно взошла на костер, чтобы стать героиней мифа. Недоброво указывает на «присутствие в ахматовском творчестве властной над душою силы» и немедленно уточняет: «она не в проявлении сильного человека». Ахматова как будто пренебрегла несколькими этапами развития современной ей общественной мысли, точнее, общественной моды на мысль, в частности Ницше и установки на сильного человека. Трактовать ее личность, примеряющую на себя чужие личины, не только безосновательно, но и заведомо неплодотворно. Судьба или эллинский пантеон или Вседержитель выбрали ее быть *жертвой* во всем диапазоне функций – от жертвы насилия до жертвы отпущения. Без понимания этого, причем понимания, присущего античности и одновременно сегодняшнему дню – как объясняет его, например, Рене Жирар, – бессмысленно обращаться к Ахматовой и толковать ее. Она не поэтесса из интернета, сводя к которой, толкователи думают, что принижают ее. Мы принижаем только себя, ибо интернет – это наше самомнение, ничто иное.

…Я бы хотел после этого сказать, что ничто не бывает бесконечно и когда-то эти наши встречи, эти собрания летние прекратятся. Но когда я думаю, что усилиями Жукова и еще нескольких человек такое случилось и состоялось и продолжалось семь лет, я прихожу в приподнятое настроение. Потому что в России (во всяком случае) и в мире исключительно редко бывало, чтобы рождалась поэтесса-женщина, одаренная талантом такой величины, такого масштаба и такой мощи. И нам, я думаю, надо поменьше реагировать на то или другое частное впечатление вроде «вот тут она послабей, вот тут она позатрапезней», а благодарить время за то, что оно сделало нас ее младшими современниками.

Лет двадцать-тридцать тому назад мне вдруг приходило в голову: ну, Пастернак, ну, сколько можно, Пастернак, Пастернак. Дай-ка открою наугад книгу, еще разок пройдусь по его стихам. И открываю, и первое стихотворение как будто подтверждает такой мой скепсис, а уже второе, а третье… – это невероятно, что человек, который выглядит так, как все вообще люди, как обычный прохожий на улице, может быть так гениален. Серебряный век – это цветник поэтов невероятной силы. Как говорила Ахматова о Мандельштаме – собираются молодые поэты, читают стихи; одни получше, другие похуже, а потом начинает Осип, и как *лебедь взлетает*.

Хочется, чтобы этот образ мы хоть где-то на периферии души

сохранили. Ахматова сама была такой лебедь. И не случайно для стихотворения, адресованного «гостю из будущего», она выбрала строчку из Пушкина, причем, из самого как будто неподходящего произведения, из сказки: «Лебядь тешится моя». По старому написанию – через «я».

Вот кто жил в этом доме, и с кем можно было когда-то поговорить, а сейчас – восхититься ее даром».

Special guest в этом году был Вениамин Смехов, имя, любезное публике. Он читал стихи, программу, так сказать, общекультурную, от Пушкина до Бродского. Но выбор стихотворений включал в себя вещи и неожиданные. К тому же, читал он не по-чтецки, выделяя интонационно не то, что работает на актера, не приносящее ему сценических выгод, а выявленное под поверхностью текста, – и это при обаятельной и популярной своей внешности. Иногда он то ли реально подзабывал какое-то слово, то ли делал вид, это погружало его и аудиторию – и поэта, чьи стихи произносились, – в общую домашнюю атмосферу. Словом, звучало и выглядело весьма привлекательно.

Выступает Вениамин Смехов

Начал он со стихотворения Бродского «На столетие Анны Ахматовой»; самой Ахматовой прочел «Петроград, 1919» («И мы забыли навсегда»), «Летний сад»; Гумилева – «Я и вы» и «Индюк». Отдельную часть выступления посвятил дорогой для себя теме Маяковского, прочел его стихи «А вы могли бы», которые тот, есть такой слух, успел продекламировать Ахматовой во время их случайной короткой встречи на углу Большой Морской и Невского. Смехов подал их в окружении столь же эпатажных «Ничего не понимают», «Скрипка и немножко нервно» и «Послушайте!». Закончил пастернаковским «Смерть поэта» и ахматовским «Маяковский в 1913 году». Обособленно прочел мандельштамовские «Я скажу тебе с последней прямотой» и строфу «Уходят вдаль людских голов бугры» – приурочив к 72-й годовщине дня, в который началась Отечественная война. А кончил «На фоне Пушкина снимается семейство» Окуджавы.

… Написал последние абзацы и – не показалось, а – явственно почувствовал, что эта книга, возникающая передо мной

слово за словом и страница за страницей, «недовольна» тем, как я ее пишу. Как известно, существо любой книги, если она не просто реестр имен, вещей и событий, задается уже первыми несколькими строчками, после чего оно начинает выступать как самостоятельная воля. То есть пишут ее одновременно и автор, и она, книга, сама себя. Если автор навязывает ей развитие, сколь необходимым оно ему ни кажется, сколь жизненно, идейно, искусно ни осуществляется, но при этом вступает в противоречие с органикой уже написанного, уже заложенного в книгу прежде, она сопротивляется. На этот раз ее недовольство выразилось в том, что я вдруг задумался: по какой причине эти главы, чуть ли не без моего участия, выстраиваются с протокольной тождественностью? Сводка того, кто присутствовал, в каком порядке выходили на сцену, что говорили, какие стихи читали, с каким безукоризненным почтением и расположенностью друг к другу обращались. Сколько раз была повторена магическая мантра «мы приезжаем сюда с приношением Анне Андревне» или «памяти Анны Андревны»? Формула, придающая нам важности, намекающая на наше право называть это приношением, как бы заведомо распространяющая одобрение бывшей хозяйки на все нами произносимое и совершаемое. То, что единственная Ахмадулина почувствовала как возможную обиду ей.

Нечего ломиться в открытые двери: есть записи, в том числе аудио, – для того, кто берется описать происходившее, ими предопределяется содержание, порой даже тон. Но ведь начинался каждый такой день рождения Ахматовой с остановки у кладбища, укладывания цветов на могилу, каких-то минут сосредоточенного стояния над ней, каких-то глухих слов, медленно, с трудом выговариваемых о покойнице. Если бы не наше желание ввести эти приезды в формы, в которые за столетия цивилизации, и в особенности за советские десятилетия, сложились такие визиты к памятным, тем более – чтимым, могилам, обыкновенного посещения их было бы вполне достаточно. Но выработались требования: сказать об усопших нечто торжественное, ставящее их в особый ряд, сопоставленный с теми или другими достижениями культуры. Отсюда один шаг до того, что показать лучшее, на что мы, навещающие их, способны. Ну, право, не уезжать же после кладбищенского максимум получаса в город, из которого добирался два и обратно уйдет два. Потому и не попадают в описание эти полчаса. А они, если оглянуться назад, лучшие тридцать минут в каких ни есть наших приношениях.

«Недовольство» книги тем, какой она выходила на компьютерный экран под тычками моих пальцев в клавиатуру,

имело и более глубокие корни. Начать хотя бы с причины сиюминутной – упоминания о войне. Мне было пять лет, когда ее объявили, я запомнил множество деталей того дня. Упавшего на жизнь вдруг, после череды праздничных. Открывшего череду гибельных: массовых расстрелов еврейского гетто в Риге, истребивших почти всю ближайшую мамину родню, и ленинградской Блокады, сгубившей ближайшую отцову. День 22 июня мама вспоминала со мной каждый год, после ее смерти я в одиночестве вспоминаю не только его, но и наши общие с ней воспоминания. Словарь и тон всего, что может быть произнесено о случившемся тогда, в 1941 году, фальшивы, мертвы и не могут быть другими.

Слова применительно к прожитому/пережитому Ахматовой и применительно к нам, приезжавшим и в ее честь говорившим, читавшим стихи, певшим, были одни и те же. Но наполнявшее их содержание разнилось несопоставимо. То, что, к примеру, до последнего десятилетия мог назвать горем я, по сравнению с «было горе, будет горе, горю нет конца» из ее «Колыбельной» 1915 года укладывалось, пожалуй, в худшем случае в понятие одиночных ударов, несчастий терпимых. Перед ее «беды скучают без нас» из стихотворения 1959-го наши беды не утяжелялись или, если угодно, не возвышались до удара «тринадцатого часа». Причин две. Первая – она была словно бы задумана Создателем как единственный в своем роде инструмент, принимающий на себя боль множества других и отзывающийся на нее. Вторая – условия жизни во время, выделенное ей. 35 лет она, как все наши деды и родители, просуществовала в стране открыто проводимого государством террора, обжигаемая его огнем, дыша его воздухом, питаясь его хлебом. Сергей Юрский, выступая на следующей встрече, сказал, что в нашей молодости приближаться к ней было опасно, она все еще была опальна. Про опасность сказать мне нечего, не знаю; про опальность – да, была. Приезжать же в Комарово к Будке в 2000-х было только удовольствием и развлечением.

…После Смехова, а может быть, наоборот, предваряя его – пишу по памяти и не ручаюсь за последовательность, – были представлены две певицы из капеллы «Dedooks», Татьяна Антоновская и Светлана Месхи. Они пропели романс Сергея Прокофьева на стихи Ахматовой «Настоящую нежность не спутаешь» и арию из «Дидоны и Энея» Перселла. Как обычно, без претензий, без расчета снискать похвалу. Голоса звенели, и, как у Тургенева, «закипали на сердце и поднимались к глазам…», ну, не слезы, но жар и внутреннее напряжение. Remember me,

remember me. / But ah! forget my fate. Плач Дидоны, столько раз слышанный с пластинки, и в этой Будке тоже. *Когда я в землю лягу, в землю лягу, / Моя беда не сотворит / Тревоги пусть в груди твоей.* (Это если оставлять печать нерусскости на речи перевода.) *Меня ты помни, помни. / Только ах! забудь мою судьбу!*

Опять-таки, как обычно, Павел Крючков рассказал, какие он привез с собой аудиозаписи, когда и как они были сделаны, попросил помощника включить первую. Это было «Первое предупреждение» из «Полночных стихов», появившееся 50 лет тому назад здесь, в Будке, летом 63-го года. Слушая его тогда в первый раз, я почувствовал, как на строчках «И пусть я не сон, не отрада / И меньше всего благодать» что-то толкнуло меня изнутри от стыка «сна-и-отрады», в определенном смысле поэтизмов, признаний, возможно, сделанных ей кем-то в стихах или разговоре, – с «благодатью», то есть самим именем «Анна», как звучит это слово по-древнееврейски, о чем я тогда уже знал. А в другой раз, без какого-либо повода, не говоря уже, просьбы с моей стороны, она указала пальцем на свой глаз, в котором едва заметное коричневое пятнышко оказалось образовано несколькими еще меньшими, крохотными точками, и произнесла: «Тот ржавый колючий веночек».

Голос Ахматовой читает:

Первое предупреждение

Какое нам, в сущности, дело,
Что все превращается в прах,
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
Пускай я не сон, не отрада
И меньше всего благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать —
И гул затихающих строчек,
И глаз, что скрывает на дне
Тот ржавый колючий веночек
В тревожной своей глубине.

Далее Крючков предложил реставрированную насколько возможно запись 1920 года. Стихотворение 1913 года «Прогулка»: «Перо задело о верх экипажа». Звук голоса Ахматовой, как он выразился, «снятый с восковых валиков, куда сапфирный резец закладывал голос чтеца». 50 секунд когда-то живого голоса, от

которого остались чешуйки слов, для тех, кто знает эти стихи, все-таки различимых.

Почти стершийся голос Ахматовой:

Прогулка

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой…
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

Крючков процитировал слова Недоброво «о крупицах прозы бесценных, рассеянных в ее стихах» и еще раз напомнил, что «люди, которые работали с аудиоархивом Ахматовой, сравнивали эту запись и ее позднее чтение» и отметили полное интонационное совпадение.

И следом он предложил прослушать отрывок из «Поэмы без героя» «про город тринадцатого года».

Голос Ахматовой читает: начало главы третьей из «Поэмы без героя»:

Ведь под аркой на Галерной…

А. Ахматова

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем».

О. Мандельштам

То был последний год…

М. Лозинский

Петербург 1913 года.

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл

По неведомому назначенью,
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,

В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.

Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень,

Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.

И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

И выглядывал вновь из мрака
Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан…

И всегда в темноте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул,

Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.

Словно в зеркале страшной ночи

И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,

А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

В заключение Павел Крючков объявил «Песни на стихи Ахматовой и ее современников» в исполнении Александра Жукова и Игоря Хомича.

«Приморский сонет».

«Двадцать первое. Ночь. Понедельник».

Рыбак. «Руки голы выше локтя, а глаза синей, чем лед».

Летний сад. «Я к розам хочу, в тот единственный сад».

Александр Жуков: А в завершение сегодняшней программы… В этот домик, под эти сосны, в это удивительное место приезжали – нечасто, но с каким-то высоким и замечательным смыслом, молодые поэты. Четверка поэтов. Хотелось бы это отметить на нашей сегодняшней встрече. Ну, начнем… С таких стихов…

«В старом зале», Евгений Рейн.

В старом зале, в старом зале,
над Михайловской и Невским,
где когда-то мы сидели
то втроем, то впятером,
мне сегодня в темный полдень
поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо
и, по сути, поделом.
Ибо что имел – развеял,
погубил, спустил на рынке,
даже первую зазнобу,
даже лучшую слезу,
но пришел сюда однажды
и подумал по старинке:
«Все успею, все сумею,
все забуду, все снесу».
Но не тут, не тут-то было —

в старом зале сняты люстры,
перемешана посуда,
передвинуты столы,
потому-то в старом зале
и не страшно, и не грустно,
просто здесь в провалах света
слишком пристальны углы.
И из них глядит такое,
что забыть не удается, —
лучший друг, и прошлый праздник,
и неверная жена.
Может быть, сегодня это
наконец-то разобьется
и в такой вот темный полдень
будет жизнь разрешена.
О, вы все тогда вернитесь,
сядьте рядом, дайте слово
никогда меня не бросить
и уже не обмануть.
Боже мой, какая осень!
Наконец, какая проседь!
Что сегодня ночью делать?
Как мне вам в глаза взглянуть!
Этот раз – последний, точно,
я сюда ни разу больше…
Что оставил – то оставил,
кто хотел – меня убил.
Вот и все: я стар и страшен,
только никому не должен.
То, что было, все же было.
Было, были, был, был, был…

Стихотворение «Гость», Дмитрий Бобышев.

В ночь сороковую был он, быстрый,
здесь, – новопреставленный певун.
Рыже на лице светились искры,
стал он снова юн.

Стал, как был, опять меня моложе.
Лишь его вельветовый пиджак
сообщал (а в нем он в гроб положен):
– Что-то тут не так!

Мол, не сон и не воспоминанье…
Сорок дней прощается, кружа,
прежде чем обитель поменяет
навсегда душа.

Значит, это сам он прибыл в гости,
оживлен и даже как бы жив.
Я, вглядевшись, не нашел в нем злости,
облик был не лжив.

Был, не притворяясь, так он весел,
так тепло толкал в плечо плечом
и, полуобняв, сиял, как если б —
все нам нипочем.

Словно бы узнал он только-только
и еще додумал между строк
важное о нас двоих, но толком
высказать не мог.

Как же так! Теперь уже – навечно…
Быв послом чужого языка,
в собственном не поделиться вестью!
Ничего, я сам потом… Пока.

«Красота – была, красота – была…». Анатолий Найман

Красота – была, красота – была.
Красота в переводе на мой
означает «была». И сожгло дотла.
Ноль без палочки. И не ной.

Пепел шелком лег, и дымок взвился,
и на кукольном лбу зола.
Красота – была, вот и правда вся,
как глагол в прошедшем на – ла.

Только юность – цель, только юность – дар,
остальное – бурьян-былье.
А она – разбой и потом пожар,
и до смерти помнишь ее.

А что вся цветной витраж и пуста,
так и жизнь ни добра, ни зла,

ни кола, ни двора. А она – красота.
Красота. Что значит – была.

Ну, а без этой песни мы отсюда никогда не уходим.
Иосиф Бродский. «Закричат и захлопочут петухи…»

«…»

Вечер был кончен, день был кончен, мы стали усаживаться, кто в машины, кто в микроавтобус. Грусть, сопровождавшая меня в этот приезд с самого начала, к концу, после прозвучавших наших стихов, овладела мной целиком. Не тоска, не печаль, а грусть: слишком наглядно было несовпадение когдатошнего, молодого, прошлого – и того, чем это завершилось. Не так, чтобы скорбеть, а так, чтобы душа болела. «Вот и все: я стар и страшен». «Оживлен и даже как бы жив». Бродского не было уже 17 лет. Ахмадулину похоронили три года как. Аксенова – четыре, а со дня, как в больницу навсегда с этого света увезли, пять. Я не о потерях, я о том, что «шествию теней не видно конца». О том, что года потянулись все какие-то чужие. Последние страницы этой книги я пишу в 2018-м. 2018-й – я о таком и не слышал никогда. А его называют «десятые годы». «Десятые годы» – это *тогда*, это Серебряный век, «Четки», портрет Альтмана, Башня, Париж Модильяни, Недоброво и Анреп, а наши – «две-тыщи-десятые», выписка из жилконторы. Наша «Анна-Андревна» не «Анна Андреевна» десятых.

Я о могуществе прошлого – того, которое и грамматически, и житейски нужно называть торжественно plus quam perfectum, *сверхсовершенным*. Которое в стихах, а не в судьбах. Которое, как Ахматова, полстолетия при ее жизни и полстолетия после смерти берет нас за сердце. Властно разговаривает с нами и учит нас разговаривать. Которое постоянно является в нашу действительность, наши мысли и наши мечтания – с приношением. Нам. А наш ответный жест, поклон, шопот сводятся к одному – не обидеть ее.

Тот самый момент

А еще я вспомнил мгновение – так отчетливо, что даже бессознательно обернулся на тот квадратный метр на этом участке, где четыре года тому назад оно пронеслось, чтобы вернуться сегодня воспоминанием. Обернулся, только чтобы убедиться, что никого и ничего на том месте нет, просто невзрачная травка на фоне кустов. А тогда там стояла Лена Шварц с пуделком в руках, наши взгляды встретились, и ее был такой, что я, как мог быстро, пошел к ней. Потому что за тридцать лет до того я, уже перебравшийся в Москву, приехал на несколько дней в Ленинград, и Бобышев по этому случаю созвал к себе на чай нескольких поэтов. Среди них – ее, она выглядела тогда совсем девочкой; впрочем, это был ее неизменный, вневременной образ. Читали стихи, она прочла в свою очередь. Кто-то следующий. Вдруг она высоким голосом, на срыве, произнесла, обращаясь ко мне: «Я хочу, чтобы вы сказали про мои стихи». Я сказал чушь, безвкусную, третьесортную – но без подначки: «Ваши стихи очень талантливы, их многие будут любить, у вас будет круг верных почитателей». Она выбежала в коридор. За ней поспешил Леонид Чертков. Бобышев пошел на кухню ставить большой чайник и потом передал мне, что, выйдя за дверь, увидел плачущую лицом в угол Лену и утешающего ее Черткова: «Он завидует вам, завидует»… В Комарове, не

упоминая об этом эпизоде, я проговорил то, что должен был сказать тогда, сумбурно, и она отвечала мне тоже сумбурно, но тон и словарь обоих, и то, как доверительно и доверчиво мы смотрели друг на друга, передавая гораздо более важное, чем смысл говоримого, не требовали смысловых разъяснений. И вот теперь место, где мы стояли, зияло пустотой. Она умерла меньше чем через год. А Леня Чертков за десять лет до нее.

И последнее. Нашу, я имею в виду Рейна, Бобышева и себя, троицу представили стихами поздними, так или иначе подводящими итог. А Бродского ранними, я хочу вернуть справедливость. (Кстати сказать, хочу наконец поправить и разочаровать Александра Петровича. В той электричке, когда Бродский торопился успеть к прибытию в Комарово свое «Закричат и захлопочут» кончить, я вез никакие не алые розы – на какие шиши я мог тогда их купить? – а симпатичную охапку полевых, свежих, на Финляндском вокзале и купленных.) Итак, Бродский —

На столетие Анны Ахматовой

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен
костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

2014

Павел Крючков открыл вечер привычной – для завсегдатаев, но ведь приходят и новенькие – историей зарождения цепи этих комаровских собраний, а историю – предысторией реставрации Будки. Перечислил всех принимавших участие, всех выступавших. Пообещал прослушивание еще не звучавших на этой площадке аудиозаписей и музыкальную программу капеллы «Dedooks». Дальше была моя очередь.

Анатолий Найман: Меня попросили объявить перед тем, что я собираюсь сказать об Ахматовой, что с 30 июня до 3 июля состоится 11-й Международный литературный фестиваль. Будут гости, в том числе из-за границы. На этих желтых листочках расписание того, что предстоит, можете ознакомиться. Кроме того, будет сбор подписей, если я правильно запомнил, для представления губернатору об установке мемориальной доски. Я думаю, что этой информации достаточно, остальное можно узнать друг у друга.

… У меня создалось впечатление или, скорее по стариковству, создается, что мы уже столько раз встречались здесь, – что это последний. Правда, хотя мы не десять раз, как говорят, сходились, а, как мне кажется, семь, но все равно это много, и, честно говоря, у меня каждый раз это впечатление – что последний. Вот и сегодня у меня такое. Я вчера открыл прогноз погоды, там стояло в Ленинграде 9 градусов. Я хотел просить Александра Петровича, давайте перенесем, через год приедем. Так бывает, настроение перед самой поездкой меняется. Но получается, как получилось и сегодня, я нахожу такие колебания в порядке вещей.

Каждый год немножко меняется тема. Казалось бы, Ахматова равна себе, казалось бы, тот же двор, казалось бы, она здесь осязаемо присутствует тенью и памятью о себе. Но что-то все равно сдвигается, вот и в этом году – 125 лет со дня ее рождения, полукруглая, но дата. Дескать, надо сделать на чем-то большее ударение. Новый повод для разговора. К тому же вышел 5-й номер журнала «Октябрь». Он открывается моей публикацией к этому 125-летию, а сама публикация – чудной ее фотографией, даже издали чудной. Эту фотографию Ахматова мне когда-то подарила. Изображение трудноразличимо, и только нынешние средства печатания что-то из нее делают. Уверен, что когда я сейчас ее покажу, вы это будете видеть лучше, чем я вижу у себя на подаренном снимке. Вот она сидит, в начале 10-х годов, на

деревянном мостике в Слепневе. Посередине женская фигурка, и даже в такой высохшей речке какие-то можно различить распустившиеся цветы. Я этот номер передам с удовольствием и уважением мэру Комарова, а он пусть поступит, как знает. Или для библиотеки, или для музея, или для какой-нибудь, ну не знаю, викторины на тему Ахматовой. Скажем, кто назовет правильно ее имя, отчество и фамилию, тот получит этот журнал. Мы сфотографируемся, чтобы это было документально.

А то, о чем я буду говорить, я написал для «Новой газеты», но это только часть истории, и так она опубликована. В один из дней октября 1964 года я был в гостях у Ахматовой в Ленинграде, на улице Ленина, и она сказала: «Давайте закажем сейчас такси и поедем, сделаем прогулку по Ленинграду, просто чтобы не сидеть дома». Она очень много сидела дома. Давайте поедем. День был пасмурный и, когда мы проезжали, мы ехали по набережной к Троицкому мосту от Летнего сада, в этом направлении. У моста небо над Невой было сплошь в низких тучах с расплывающимися краями. Внезапно за зданием Биржи стал стремительно разгораться, вытягиваясь вертикально, световой столб, белый, но словно бы с примесью красноватого, а при желании что-то за этим увидеть и страшноватого. Потом в верхней его части возникло подобие поперечины, потом тучи в этом месте окончательно разошлись, блеснуло солнце, и видение пропало. Ее оно взволновало больше, чем меня. Она воскликнула и повторила раз и другой: «Вы видели? Видели?» А назавтра мы узнали, что в тот день был смещен Хрущев, 15 октября 1964 года. Она прокомментировала: это Лермонтов. Стиль его круглых годовщин. На столетие с рождения в 14-м году – Первая мировая, на столетие со смерти в 41-м – Великая Отечественная. 150 лет, дата так себе, ну и событие пожиже. Но все-таки с небесным знамением.

Каким-то боком эта наша поездка в минуту упоминания имени Лермонтова наложилась на ее поездку с подругой, за полвека до того, на извозчике, как она говорила, таком старом, что мог еще Лермонтова возить. А они с подругой обсуждали какую-то личную историю, как мне показалось, какую-то любовную, и когда он их горячее обсуждение выслушал, то повернулся к ним и сказал: «Обида ваша, барышни, очень ревная». И эти, прошедшие с тех пор, ахматовские 50, и извозчицкие почти 100, и лермонтовские 150, и ее такое личное – товарки по цеху, старшей сестры, чуть ли не бабки Арсеньевой – нежное к Лермонтову отношение, так переплелись, что таинственным образом растянули ее собственную жизнь чуть не вдвое. Одновременно перевели и хрущевское падение из ряда

сиюминутных событий в ряд исполненных исторического динамизма вообще, декабристского и других восстаний, дворцовых переворотов и прочее.

«Про Лермонтова можно сказать «мой любимый поэт» сколько угодно, – заметила она однажды. – А про Пушкина – это все равно что «кончаю письмо, а в окно смотрит Юпитер, любимая планета моего мужа». Как догадалась написать Раневской Щепкина-Куперник». Почти все, а возможно, и без почти, что оставила после себя Ахматова: стихи, пушкинистика, дневниковая проза, немногочисленные письма, просто осевшие в чужой памяти слова – все это вещи с секретом. Проходит больше или меньше времени, и тот, кто читает или вспоминает их, многократно уже читанные и вспомненные, наталкивается на неожиданность: «Позвольте, она же еще и вот это спрятала за написанными или проговоренными словами».

За минувшие с того октябрьского дня 50 лет я и написал о вставшем перед нами столпе, и издал написанное, и рассказывал при случае, и только сейчас, в этом году, мне пришло в голову, что ее замечание о магии лермонтовских дат распространяется и на нее самое. Она родилась через 75 лет после Лермонтова, другими словами, 1914 год – это личная дата и ее биографии. Переломная дата, то, что до – никогда не срослось с тем, что после. «Меня, как реку, / Суровая эпоха повернула. / Мне подменили жизнь. В другое русло, / Мимо другого потекла она, / И я своих не знаю берегов». Произошло это в одночасье: «Мы на сто лет состарились, и это / Тогда случилось в час один». Тогда – это 19 июля 1914 года. Началась Первая мировая война, а с ней настоящее двадцатое столетие. До этого же длилось, как выяснится через некоторое время, что-то девятнадцативековое, выражавшееся в том, что можно назвать коэффициентом эпохи. Ее уравновешенность была условной, но в этой уравновешенности просматривалась гармония, время дышало честью и самопожертвованием, творчество поражало непреложностью. Баратынский обличил век в полутора строчках: «исчезнули поэзии ребяческие сны». Вот, собственно говоря, и все. Может, век был и не лучше других, но с поправкой на коэффициент воспринимался основательным, пылким, ясным.

Ахматова прожила до войны, до первой мировой войны, 25 детских, юных, молодых, беззаботных, счастливых, хотя, как роду человеческому и положено, тревожных и драматических лет. 23 июня, завтра, 2014-го мы отмечаем не столько 125-летие со дня ее рождения, срок, который сознанию трудно охватить, представить себе цельным, соединить несходимые его компоненты, разноприродный, – а столетие со дня ее 25-летия.

Двадцатый показал, что за чудовище настоящий век, лагерный век-волкодав. Широкая публика в России знает скорее не биографии своих поэтов, а наборы ярких эпизодов из их жизни, превращенных молвой и адаптацией в фольклорные и идеологические памятники. Лицей – ссылка – брак – дуэль Пушкина. Бретерство – кавказские ссылки – дуэль Лермонтова. Пощечина – бедность – ссылки – смерть в лагере Мандельштама. Биографический набор Ахматовой укладывается в близкое к этим перечислениям: расстрел мужа – аресты сына – бедность – годы гражданской смерти после Постановления ЦК партии 1946-го. За всякой биографией стоит судьба, но судьба поэта отвечает особым требованиям. В определенном смысле у поэта есть только судьба. Биография лишь ее протокол. Представление об условиях, в которые попадает поэт, мало что прибавляет к представлению о его судьбе.

Судьба – это не только *как* сложилось, а в первую очередь *зачем* так сложилось. Зачем насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице выпало стоять в тюремных очередях или наблюдать, как при виде ее знакомые переходят на другую сторону улицы. Нам строить догадки не по чину. Если вспомнить лермонтовское «твой стих, как Божий дух, носился над толпой», то, думаю, не будет умозрительной дерзостью допустить, что две последние, терзающие сердце, трети жизни Ахматовой, после первой, цветущей, были предназначены ей для того, чтобы ее поэзия озвучила безъязыкость народной боли. Чтобы «Реквием» стал молитвой «не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною». Чтобы «для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов».

Осмелюсь еще вот на какой домысел: «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеить / Двух столетий позвонки?» На этот вопрос Мандельштама я бы ответил тоже – Ахматова. Мне возразят: «Как же так? Как же не сам он?» Кровью – он, заглянул в зрачки – он, но склеить ему просто не хватило времени. Склеила она, прожив после 1914-го больше 50 лет, успев написать в конце 30-х «Реквием» и стихи, к нему примыкающие, допомнить их до начала 60-х, записать, дождаться их утечки в «сам-» и потом «тамиздат». Интонацию принесших ей славу первых книг, личную свою манеру, вплетшуюся в большой стиль Серебряного века, она привила к дикости безысходного ужаса, захватившего страну в советский период. От нас скрыта роль поэтов, которую они играют в мистической конструкции мира. К примеру, почему в 100-летние годовщины дней их рождения и смерти случаются великие катаклизмы цивилизации? Но сомнений в связанности одного с

другим у меня нет.

Вот и нынешняя ахматовская дата. Вы считаете, она родилась на Украине, с украинской фамилией случайно? А не чтобы в той, неведомой нам форме, через 125 лет, принять участие в происходящем там сейчас? И, думаете, даром написала она 100 лет тому назад о своем детстве в Херсонесской бухте Севастополя: «Я собирала французские пули, / Как собирают грибы и чернику, / И приносила домой в подоле / Осколки ржавые бомб тяжелых»? Пули и бомбы Крымской войны середины XIX века. Вот все, что я хотел сказать.

И вдруг вспомнил: «А, еще. Валера <Попов>, ты будешь говорить сегодня про то, что не только в Москве пишут книги, а и в Ленинграде тоже? Да? Ну давай».

И после этого пригласил на сцену Сергея Юрского.

Сергей Юрский: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день! Разное говорили, а смотрите-ка, сколько народу собралось на этой дальней от остановок автобусов, троллейбусов и даже поездов площадке. Вот я сюда и добрался. Сюда, куда по разным причинам не смел добраться еще 64 года назад. Потому что я комаровский житель. Здесь наш Дом отдыха, актерский, и с моими родителями сперва, потом уже и самостоятельно я приезжал. Это мое пребывание в Комарове насчитывает многие годы, начиная с 50-го. Здесь умер мой отец, это тоже памятно. От него я многое слышал про Ахматову, никогда никто из нас не рискнул ее навестить, ей поклониться, поцеловать руку или просто поклониться, потому что разные круги. И какая-то несмелость была и опасность, само собой. Опасность присутствовала тогда очень явственно. Она была опальным человеком, и те, кто сюда ходил, были люди, не боящиеся опалы. Я многих из них знал, и поэтов, молодых тогда, Женю Рейна, немного Иосифа Бродского, Леву Друскина, который сюда на своей инвалидной коляске тоже подъезжал. Но рискнуть прийти? Это все были небожители, те, кто к ней ходил. И тем более она – отдельный, особенный, такой же, как эта замечательная таблетка, выбитая на камне ее могилы. Это лицо, которое не спрятано, наоборот, оно открыто, но оно абсолютно отделено от того, что не оно. Замечательный памятный знак, который говорит об особенности этого человека, так же как ее портреты разных лет.

Выступает Сергей Юрский

Я сегодня смотрел на них в Русском музее, и портрет Альтмана, и портрет Петрова-Водкина, разных лет этой женщины – и всегда это образы опять же не закрытые, а отделены от всего, как деревья. «Здесь все меня переживет», она говорила, мы знали эти строчки и полагали, что они слишком грустны. Нам, тогда молодым, казалось, что мы-то все переживем. Теперь мы пережили Анну Андреевну на полсотни лет почти. Если бы я осмелился прийти к ней сейчас (это невероятная вещь), то я думаю о том, что́ бы я мог ей сказать, занять часть ее времени. Так же как боюсь сейчас занять часть вашего времени в холодеющем дне, в вечереющем, самом длинном дне в году, перебрать. И все-таки рискну начать и потом по вашим лицам увижу, что, дескать, хватит. Я бы ей, конечно, сказал: «Вы знаете что, я слишком много отдал в жизни времени и любви Пушкину и знаю, что Пушкин был всегда в поле ваших не только исследований, но в поле вашей души, он присутствовал всегда. Я

выбираю вот эти строчки. О поэзии, легкие. Кусочек из шуточной, то ли шуточной, то ли совсем не шуточной поэмы «Домик в Коломне». Все по-разному, к примеру, Маяковский писал, как делать стихи, и в своей манере пытался объяснить, как делать стихи. Вот и Пушкин начал в период своего несомненного кризиса, может быть, нескольких дней всего длившегося, но несомненного – невхождения в общие потребности, в разрыве – эту поэму так:

Четырестопный ямб мне надоел,
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить, я хотел
Давным-давно приняться за октаву.

«…»

За самой будкой. Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

Для того, чтобы дойти до этого упоминания «будки», я дочитал зачин поэмы до этого места. Упрощенное, обращенное к людям, вернее не к людям, а к человеку, какому-то конкретному человеку, который согласен попробовать понять настроение поэта, говорящего о своем ремесле, великом ремесле. Небожители все-таки определяются уровнем того, чем владеют только они, поэты, и больше никто.

Дальше я бы сказал Анне Андреевне: «Анна Андреевна, Вы, наверное, может быть, и знаете эти стихи. Это ваша современница, она была в сложных отношениях с жизнью, в сложных отношениях с вами, и великая, тоже великая, как и вы, – Цветаева. Я вам прочту одно стихотворение Пушкина, которое среди других Цветаева перевела в худшие свои дни эмиграции». Перевела на чужой язык, и перевела совершенно потрясающе. Прежде всего, ритмически сохранив на другом языке то, что составляет пушкинскую силу и прелесть. 200 страниц она перевела без всякой надежды их опубликовать. Их опубликовали через много-много лет. «Бесы». Пушкин. Цветаева.

(*Читает строфы на русском, потом на французском языке*.)

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна…

«…»

Я часы оставил там, я не гляжу на них, я гляжу на ваши лица и еще продолжу.

Человек, который, конечно, совершил великое движение нашей поэзии, – Иосиф Бродский. Человек, который здесь бывал, для которого это было важно и, по всей видимости, действительно был замечен Анной Андреевной. Если бы я тогда, или теперь, или в неведомых пространствах и временах пришел к ней, я бы сказал: «Можно я вам одно стихотворение прочту Бродского? Оно, естественно, вас никак не касается, но по поэзии оно превосходно. Оно касается другой женщины, занимающейся той же профессией. Оно называется «Одной поэтессе»:

Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом.
Конечно, просто сделаться капризным,
по ведомству акцизному служа.
К тому ж, вы звали этот век железным.
Но я не думал, говоря о разном,
что, зараженный классицизмом трезвым,
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато – начало многолетней тяжбе.
Теперь и вам продвинуться по службе
мешает Бахус, но никто другой.
Я оставляю эту ниву тем же,
каким взошел я на нее. Но так же
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.
И я для вас не шевельну рукой.

Оставим счеты. Я давно в неволе.
Картофель ем и сплю на сеновале.
Могу прибавить, что теперь на воре
уже не шапка – лысина горит.
Я эпигон и попугай. Не вы ли
жизнь попугая от себя скрывали?
Когда мне вышли от закона ‘вилы’,
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.
Зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет,
и несомненна близость Божества.
Один певец подготовляет рапорт,
другой рождает приглушенный ропот,
а третий знает, что он сам – лишь рупор,
и он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проницая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
И вот, столь долго состоя при Музах,
я отдал предпочтенье классицизму,
хоть я и мог, как старец в Сиракузах,
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,
в своей глуши благословляю разность:
жужжанье ослепительной осы
в простой ромашке вызывает робость.
Я сознаю, что предо мною пропасть.
И крутится сознание, как лопасть
вокруг своей негнущейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник
сооружает крендель. Чернокнижник
листает толстый фолиант. А грешник
усугубляет, что ни день, грехи.
Влекут дельфины по волнам треножник,
и Аполлон обозревает ближних —
в конечном счете, безгранично внешних.
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде
вас, по утрам укладывают пряди
в большой пучок, готовясь к холодам.
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
наш обоюдный интерес к природе,
всегда в ее дикорастущем виде,
и удивляюсь, и грущу, мадам».

Вы знаете, если у вас еще есть терпение на три минуты, то я бы пошел вот на что. Бродского я читаю довольно много, в том числе, и длинные его произведения, но я сейчас никак не рискну этого сделать. Но сегодняшнее посещение могилы Анны Андреевны, этого кладбища, могилы моего товарища великолепного, и поэта, кстати, кроме того, что он драматург, Александра Володина, и эти деревья, которые так выросли, и эти могилы, которых так много, пробудили у меня ощущение рискнуть прочесть стихотворение свое, которое написано в год смерти Ахматовой. Никакой связи с ее смертью здесь нет, а настроение, которое у меня сегодня возникло, я бы хотел им поделиться:

Я проснулся на скамейке,
Я сидел в бесшумном парке
И никак не мог припомнить,
Где заснул я и когда.
Было утро воскресенья,
И еще не встало солнце,
И в прудах стояла смирно
Неглубокая вода.

Позабытая тревога
Осторожно повернулась
Где-то слева, возле сердца.
Я сидел не шевелясь,
Я напряг глаза и память,
И, от мозга оттолкнувшись,
Поплыла перед глазами
Неразборчивая вязь.

Видел я, как плыло время
Относительно спокойно,
И в его пустую реку
Осыпалася листва.
В перепутанных деревьях
Я искал свою тревогу,
Я заглядывал со страхом
В потаенные места.

Знаете, как ищут зайца
На загадочной картинке:
Между веток где-то – уши,

А в корнях, быть может, глаз.
А деревья все шумели,
Ветер дул, спадали листья,
Было тихо и печально.
День родился и погас.

И тогда перевернул я
Ту журнальную картинку,
Тот загадочный рисунок,
Тот тревожащий покой —
Вверх теперь летели листья,
Надо мною плыло время.
Я густые кроны кленов
Мог легко достать рукой.

В перевернутой природе
Все же нет ушей тревоги,
Все же нет причины – зайца —
И покоя не найти.
Только мертвенное время,
Только сломанные ветки,
Осторожно намечали
След неясного пути.

Видно, вспять поплыло время:
Сквозь могилу и сквозь слезы
В расступившихся деревьях
Я увидел вдруг отца…
Было утро воскресенья
В перевернутой природе
Я искал заветный узел —
Связь начала и конца.

Я вас очень благодарю за внимание, извините за длинноты.

Павел Крючков: Сейчас пойдет почти подряд музыкальная наша часть. Предварю ее чтением подписи, которую сделала Ахматова, написав стихотворение «Слушая пение»: «19 декабря 1961 (Никола Зимний). Больница им<ени> Ленина. (Вишневская пела «Бразильскую «бахиану»)»… Композитора Вилла-Лобоса.

Слушая пение

Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется,
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

Павел Крючков: Я приглашаю сюда одну из участниц ансамбля «Dedooks», Татьяну Антоновскую, которая споет арию из «Бразильской бахианы».

Татьяна Антоновская: Добрый вечер! Нам всегда очень приятно здесь выступать. Хотя сейчас очень странно петь не «Дидону», а исполнять что-то другое. Мы попробуем: вообще говоря, это для скрипичных и струнных инструментов было написано, для виолончели. И, собственно, Вишневская пела это в сопровождении Ростроповича. Мы, как смогли, транспонировали это для синтезатора. Не судите строго. Как смогли, собрали.

Пение арии.

Павел Крючков: Теперь позвольте мне сделать реплику домашнего свойства. Я работаю в Переделкине в мемориальном музее, здесь, я надеюсь, тоже будет мемориальный музей когда-нибудь. И меня там спрашивают: вы вот ездите в Комарово – а как там местные? «Местные» – содержательное слово. Я говорю – вот так! Мои дети сейчас читают одну книжку, там есть эпизод встречи городских с местными. Сначала они дерутся, не очень все хорошо, но потом начинается любовь и взаимное уважение, и местные хотят для городских что-то такое сделать, ну, самое дорогое. Один говорит: «Давай обчистим сад». «Давай». Они идут обчищать этот сад, по дороге один другому говорит: «А ты знаешь, чей сад? Это их сад»… Одним словом, попросим Валерия Попова сказать, как он себя здесь чувствует. Это из его прозы.

Валерий Попов: Немного местной хроники – что я помню об этом саде, в котором мы находимся с вами. Первое, что мне

пришло в голову, кто-то мне рассказывал это, как Аксенов Василий Павлович подъехал к этой калитке, открыл ее, сделал два шага и встал. Кто же мне рассказывал? В этот момент вышла Анна Андреевна, посмотрела на него с недоумением, тут появился Толя Найман, она спросила его, Толя ответил, и Анна Андреевна сказала: «Он может подойти». Это рассказывал Василий Павлович, да? Совершенно верно. Следующее, если по хронике пройтись, – Бродский. Может, я его видел здесь. Найман видел. Я его видел уже после инфаркта в Америке, он как-то очень хорошо держал в памяти ленинградцев своих знакомых, как-то позвал меня один раз. Я вообще волновался, потому что прощались с корешем, а тут Нобелевский лауреат, как он подойдет, что он скажет. Страшно волновался, тут подошел Иосиф, так обнял меня и сказал историческую для меня фразу: «Валера, ты изменился только в диаметре». Я вообще слежу за своим диаметром, это напутствие Бродского. Другим он сказал более значимые вещи, а мне вот эту фразу, которую я никогда не забуду. Здесь черпал воду, в этом колодце, и потом оказался знаете где.

Следующая хроника. Когда я здесь оказался, здесь была совершенно разрушенная эта дачка, вся сгнившая, как мягкая губка, как детская игрушка, ее можно было мять, она проседала под ударами руки, под нажатием. Мой отец провалился через это крыльцо, как памятник здесь стоял. Я пытался чинить, в Литфонд обращался. Помню, пришел какой-то богатырь с топором и стал делать что-то такое, какое-то крыльцо такое, как будто оно ведет на крышу, такое очень высокое-высокое крыльцо. Почему-то он исчезал. Два удара и исчез. Я думал, когда же у него проснется совесть? И совесть у него просыпалась, как правило, часов в 5 утра. У него какие-то химические мучения были. Я просыпался от стука топора об крыльцо, и часов в 6 совесть его успокаивалась, и он снова уходил. При этом он относился к порученному делу очень серьезно, потому что Ахматова не только нами любима, весь народ тут ее обожает. Я проходил со станции мимо пивной, там, знаете, около станции, и видел, этот Толик сидит, окруженный толпой почитателей. Он говорит: «Сейчас я работаю над Будкой Ахматовой. Выматываюсь страшно». То есть, он морально дико переживал этот период. Выматывался страшно, но ничего не делалось абсолютно. И все бы пропало, если б однажды, сидя на этом крыльце, я не увидел там экскурсию, которую вела наша замечательная Ирина Снеговая, решил послушать еще раз. И мы с ней приехали на кладбище. Она говорит: «Вот, сироты Ахматовой – Бродский, Найман, Рейн, Бобышев». И вдруг я вижу, идет Бобышев, Дима, немножко

потолстевший, изменившийся в диаметре, седой, но живой Дима. Мы обнялись, он говорит: «Ну, ты как, тут останешься с экскурсией или с нами поедешь?» И вот такое колебание, историческое колебание, то, что я говорю: «Давай с вами».

В машине, оказался еще один замечательный человек, симпатичный человек в очках, который приехал сюда, мы немножко выпили. Вот он сейчас опять выпивает, Александр Петрович Жуков, который сказал: «Я это безобразие приведу в порядок». Благодаря ему эта Будка восстановлена, и мы здесь собираемся. Давайте поаплодируем ему. А следующая хроника, которая приходит в голову, – это что здесь очень много бывает культурных людей. Приезжают из Омска, из Кемерова. Однажды какой-то режиссер из Москвы приехал, такой очень капризный, такой наглый, сидел вот здесь и говорит: «Что-то мне концепция не нравится, как-то по-новому надо снимать, уже это все старо, отстой, помню. Позже мучил Ахматову здесь. Потом пошел дождь, и он чего-то вышел на крыльцо, и с диким грохотом упал, прокатился по ступенькам. Помню, встал, потер руками и говорит: «Ой, как все не нравится, как мне все надоело, как все плохо». А оператор ему сказал хорошую вещь: «Вадик, ты не прав. Это большая честь гробануться с крыльца Ахматовой. Это лучшее событие в твоей жизни. Ты должен помнить его всегда».

Мы здесь живем именно в таком плане – что для нас даже гробануться с крыльца Ахматовой это большая честь и радость. И последняя хроника, уже сегодняшняя, замечу: вдруг вижу, едет машина. Что делать? Я же не готовился, что-то я не успел. Я метнулся к веревке и снял возмутительно оранжевые защипки, потому что я знал, что Толе Найману это может не понравиться… Мы здесь очень-очень бережно храним память, стараемся писать – не так, как Ахматова, но что-то писать, как-то поддерживать статус этого места. И очень любим видеть здесь всех вас. Пока мы здесь, все будет в порядке.

Крючков приглашает на сцену вокальный коллектив «Dedooks». Руководитель капеллы: «Мы не споем «Бразильскую бахиану», но что-нибудь споем. Так как день рождения Анны Андреевны, мы сделаем свой подарок. Какой умеем. (*Ансамбль исполняет музыкальные номера своего репертуара.*)

Павел Крючков: Переключаем регистр. Архивные аудиозаписи. Каждая будет длиться не больше полутора минут, одна только – три минуты. И Найман строго-настрого запретил мне что-либо говорить из истории звукозаписи. Не буду.

Стихотворение, которое прозвучит первым, оно из цикла

«Венок мертвым». Под ним подпись, родственная той, что Ахматова оставила под стихотворением «Слушая пение», а именно: «19–20 октября 1961 Гавань (больница). Очень известные стихи, подзаголовок «Комаровские наброски». В записи Ахматова говорит «Комаровские кроки». (Кроки – от французского croquer: быстро рисовать. Заметим, что «Нас четверо» уже читалось в Комарове на вечере 2007 года. —)

Нас четверо
(Комаровские кроки)
Эпиграфы

… И отступилась я здесь от всего.

«…»

Павел Крючков: Следующее стихотворение Ахматова, если я ничего не путаю, читала в 64-м году в Италии, когда она получала премию Этна Таормина. Телевидение снимало это чтение, изображение сохранилось, но звука нет. Но голос есть, где она читает это стихотворение, написанное ровно 90 лет тому назад, в 1924 году.

Муза

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я!».

Павел Крючков: Осенью прошлого года в Англии умер композитор Джон Тавенер. Я не большой знаток музыки, но, по моим понятиям, это был великий человек и гениальный композитор. Он был православный. Очень сильное влияние на него оказала русская культура, знаменные распевы и Стравинский. В 80-м году он написал для оркестра «Басы и сопрано» на стихи ахматовского «Реквиема». А в середине 90-х

музыку к пяти стихотворениям. Его любимая певица Патриция Розарио их спела. Послушаем в память о Тавенере, который преданно любил Ахматову, это самое стихотворение «Муза». Его поет по-русски Патриция Розарио.

Пение Патриции Розарио.

Затем Павел Крючков повторяет (пренебрегая «строгим-настрого запретом» Наймана) историю записи стихотворения Ахматовой «Когда в тоске самоубийства» (см. описание вечера 2007 года) и включает прослушивание.

Следующее прослушивание – начала стихотворения «Век мой, зверь мой» Мандельштама (см. описание вечера 2011 года). («Признаюсь честно, – сказал Крючков, – я знал, случайно, что Анатолий Генрихович будет говорить об этих стихах Мандельштама, но в тот момент уже знал и то, что я это привезу. Запись Осипа Мандельштама, причем нигде еще не опубликованную. За что благодарю моих коллег по Государственному Литмузею, которые разрешили это показать».) Первые две строфы его стихотворения 21-го года «Век».

Следующее – стихи Бродского «На столетие Анны Ахматовой» (см. описание вечеров 2012 и 2013 годов).

После чего Крючков предупреждает, «что мы сейчас услышим голос Бобышева. Может быть, когда-нибудь соберется что-то вроде антологии, посвященной этим комаровским встречам, которые, действительно, многим из нас тоже кажутся последними, а они все продолжаются. Как бы там ни было, теперь у нас есть запись и Дмитрия Бобышева. То, что он рассказал, сняли на камеру, звук записали – о встречах с Ахматовой и о том, что он думает по этому поводу. Очень маленький эпизод. О том времени, когда он и все те, которых Ахматова назвала «волшебным хором», появились, и как ему представляется, какой к этому времени стала ее поэтика».

Запись голоса Бобышева:

К тому времени Ахматова разработала свой особый поздний стиль, отличный от прежнего. Я бы назвал его прекрасной сложностью в отличие от прекрасной ясности акмеизма. Так была написана, без преувеличения сказать, грандиозная «Поэма без героя». В подобном же стиле буквально у нас на глазах создавался сравнительно короткий цикл «Полночных стихов». Эти стихи прочитывались как любовный и драматический по смыслу диалог, происходивший сразу в нескольких временных слоях с неким

прототипом, который тоже как бы расслаивался. Получался неожиданный эффект. Некоторые строчки казались адресованными прямо к слушателю, а другие уводили к иным адресатам.

Дмитрий Бобышев и Александр Жуков за столом перед Будкой во время приезда Бобышева в Комарово из Урбана Шампейн

Поэтому смысл стихов ритмически пульсировал от более ясного к более таинственному. Многие образы этого цикла говорили об опыте перенесенного страдания, например, такие: «И глаз, что скрывает на дне / тот ржавый колючий веночек / в тревожной своей тишине». Под этим веночком, конечно, подразумевался терновый венец, евангельский символ земных страстей. Но почему и как она поместила его в свое око? Размышляя над этим дома, я, к своему удивлению, осознал, что не могу припомнить, какого цвета глаза, в которые я глядел, слушая это стихотворение.

Павел Крючков: В этом месте я остановил. Закончим же мы слушать этот удивительный шум времени вот как: в июне 63-го

года было написано это стихотворение «Первое предупреждение», которое входит в цикл «Полночные стихи».

Голос Ахматовой читает «Первое предупреждение».

Павел Крючков: И наконец, неизменное и любимое нами завершение. Я знаю, что сегодня мы услышим от Александра Жукова и Игоря Хомича что-то новое.

Александр Жуков: Добрый вечер, гитары из-за холода вышли из повиновения, так что минуту, мы настроимся. День сегодня ясный оказался. Думаю, потому, что Сергей Юрьевич Юрский взял с собой большой зонтик.

Дальше. В позапрошлом году мы отмечали столетие «Вечера», первой книги Анны Андреевны. Несколько песен прозвучало на стихи из этой книги, кое-какие мы еще раз споем. Но в этом году пришел очередной юбилей. Сто лет «Четок» – вторая ее книга, она выпустила ее в 14-м году, и мы, наверное, начнем с нескольких стихотворений из этой книги.

Первое, должно быть, всем известно.

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

Очень известное стихотворение, совершенно замечательное… Следующее тоже из этой книги, мы решили его сделать в такой манере.

Здесь все то же, то же, что и прежде,
Здесь напрасным кажется мечтать.
В доме у дороги непроезжей
Надо рано ставни запирать.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном.
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть – большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.

И часы с кукушкой ночи рады,
Все слышней их четкий разговор.
В щелочку смотрю я. Конокрады
Зажигают за холмом костер.

И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Вот. Ну, еще одну, наверное, из этой книги. «Бессонница» называется.

Где-то кошки жалобно мяукают,
Звук шагов я издали ловлю…
Хорошо твои слова баюкают:
Третий месяц я от них не сплю.

Ты опять, опять со мной, бессонница!
Неподвижный лик твой узнаю.
Что, красавица, что, беззаконница,
Разве плохо я тебе пою?

Окна тканью белою завешены,
Полумрак струится голубой…
Или дальней вестью мы утешены?
Отчего мне так легко с тобой?

И вернемся к «Вечеру», не помню, пели мы или нет это в прошлом году.

Сегодня мне письма не принесли:
Забыл он написать или уехал;
Весна, как трель серебряного смеха,
Качаются в заливе корабли.
Сегодня мне письма не принесли…

Он был со мной еще совсем недавно,
Такой влюбленный, ласковый и мой,
Но это было белою зимой,
Теперь весна, и грусть весны отравна,
Он был со мной еще совсем недавно…

Я слышу: легкий трепетный смычок,
Как от предсмертной боли, бьется, бьется
И страшно мне, что сердце разорвется,
Не допишу я этих нежных строк…

А что Анна Андреевна о себе говорила «я херсонидка» – пусть это стихотворение, которое корнями откуда-то оттуда, подтверждает. «Рыбак».

Руки голы выше локтя…

«…»

Так повелось, что мы исполняем тоже песни, как уже было сказано, «волшебного ахматовского хора». Давайте сейчас вспомним Анатолия Наймана.

Красота была, красота была…

«…»

И непременно в заключение – Иосиф Бродский.

Закричат и захлопочут петухи…

«…»

Все. Спасибо за компанию. За вечер, за все, что здесь было.

2015

Павел Крючков открыл собрание еще одним (вот тут уместно было бы сказать – традиционным) напоминанием, откуда эти собрания пошли и что собой представляли. Говорю об этом без тени иронии, скорее с сочувствием к нему. Деваться ему было некуда – мы, ежегодно приезжающие, успели сбиться в своего рода труппу Комедиа дель Арте, в которой у каждого была постоянная, хотя и допускавшая импровизацию роль. «Александр Петрович», «Анатолий Генрихович» звучало как «капитан», «арлекин», и нам деваться тоже было некуда. Тем более что Павел насчитал, что эта встреча – десятая (она была девятая) – и в качестве круглого числа знаменательна. Он назвал имена всех отметившихся в предыдущие годы гостей, без пропуска, от А (-ксенова) до Я (-ковенко, депутата Комаровского поселкового совета). Это был отчет о проделанной работе, но уже как бы одобренный свыше, из, если цитировать Бродского, «надмирной ваты», и потому прозвучал заведомо дифирамбически. С другой стороны, это был отчет и перед надмирной ватой, точнее Творцом всего, начиная с нее и кончая самим Комаровом (доисторическим Келломяки) с улицей Озерной и на ней участком для Будки. Дескать, вот так мы распорядились Твоими дарами, вот такую извлекли из них пользу – удовлетворен ли Ты?

Закончил Крючков объявлением о выходе вчера в свет пластинки «Приморский сонет», презентация ее состоится в конце сегодняшней встречи, тогда, стало быть, о ней пойдет подробный разговор.

После чего слово было передано главе местной администрации Топорову. Тот был краток, говорил толково.

Евгений Торопов: Уважаемые жители, гости поселка Комарово. Разрешите мне от имени местной администрации приветствовать вас на этом вечере. Ахматовские вечера стали доброй традицией нашего поселка. Но сегодняшний вечер особенный. Сегодняшний вечер проходит в год, объявленный Российской Федерацией Годом литературы.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что на официальном логотипе Года литературы изображены профили великих русских писателей: Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и Анны Андреевны Ахматовой. А в 2006 году состоялся первый ахматовский вечер, на котором выступали поэты и писатели, о которых уже было сказано. Александр Жуков играл на гитаре и пел романсы на стихи Анны Ахматовой и

Бродского. И первый этот опыт, тогда еще не рекламированный, оказался удивительно впечатляющим. В словах выступавших звучала ностальгия по поэзии. Поэзия, может быть, и есть запечатленная память, а без памяти человек утрачивает себя. Вот почему так важно, чтоб традиция этих вечеров, так счастливо начатая, не прерывалась. Особую благодарность хочется выразить Александру Жукову, благодаря которому эти встречи и могли состояться, депутату Владиславу Яковенко, учредителю фонда «Келломяки-Комарово», на плечи которого легла организация этих вечеров. И муниципальному совету поселка Комарово.

Хочу пожелать всем присутствующим, чтобы сегодняшний вечер прошел на высокохудожественном уровне и оставил у всех нас приятное впечатление.

Следующим был я: В прошлом году я думал, что в этом уже не приеду. Как высказался в прошлом году один из присутствующих, когда меня попросили пройти на сцену, лестница была вот с этой стороны, и он сказал – не широковещательно, но для окружающих отчетливо: «Да, не тот уж, не тот уж». И я действительно не тот уж. Кое-что было тут сделано и при моем участии, об этом достаточно говорилось, но паспортные данные дают о себе знать – в своей манере. Ты думаешь, ну, сколько можно так этим заниматься.

И в этом году я всерьез рассчитывал, что обойдется без меня. Но Жуков меня пригласил, предложил сделать вот что. У меня полтора месяца тому назад вышла книжка стихов, он попросил меня несколько стихотворений оттуда прочитать. Книжка называется «Подношение Гале», и я об этой книжке скажу немного, потому что тема ее значима для каждого живущего на свете. То есть дело не именно в моей, а в обстоятельствах появления такого рода книжек. Известно, что Пушкина после дуэли его камердинер внес на руках умирающего, со смертельной раной, в спальню. Внес, и до смерти, которая наступила очень скоро, Пушкин произнес несколько необычайно значительных фраз. Он говорил по большей части по-французски, и одна из этих фраз была: «Мне надо уладить мое хозяйство». Ну, там дословно это было: «Мне надо уладить мой дом (ma maison)». Вскоре, через несколько часов после этого, умер. И каждого человека – одного после дуэли, что гораздо реже, остальных – после болезни, после наступления какого-то срока, некий невидимый или видимый камердинер вносит в дом, и этот человек должен собраться и в довольно короткое время попытаться уладить свои дела. Потому что мы все предстаем перед концом нашей жизни, принося с собой слишком много

ролей, которые сыграли на земле, начиная пусть от, как говорят, «голого человека на голой земле», или человека, стоящего перед Богом, или главы семьи, или отца семейства, или чьего-то мужа, или просто там, я не произнесу этого слова, просто обыкновенного *мэ* какого-нибудь, или какого-то звена, какой-то веточки генеалогического древа. И вот это надо все собрать воедино по возможности.

Я не думал – так же как не думал, что сегодня приеду, – не думал, что эта книжка стихов будет написана, потому что у меня три года тому назад вышла книжка. Мне предложили тогда выпустить том, толстый, от начала моего стихотворчества до конца, как бы полное, вернее полное избранное собрание стихов. Такое собрание обычно выглядит как могильная плита. После такой книжки чего там писать – все уже написано, и до свидания. И вдруг по ряду обстоятельств и по необъяснимым каким-то причинам я написал около ста или, может быть, даже больше ста стихотворений, в которых, по своим возможностям, вот и сделал то, о чем только что сказал. Я попытался собрать воедино все эти свои роли или ипостаси, как угодно, называйте. Но все-таки мы сюда приехали – я во всяком случае – не для того, чтобы рассказывать о себе, а для того (как мы, немножко уговаривая себя, не устаем повторять), чтобы праздновать день рождения Ахматовой, очередную его годовщину. Просто я сейчас хочу объяснить, почему прочту сегодня несколько стихотворений из этой книжки.

С этими днями рождения, к слову сказать, происходит путаница некоторая. Ну, вот недавно, месяц назад, мы, то есть некая общественность, праздновали 75-летие Бродского. Это такая немножко – да почему немножко? просто – фиктивная дата, потому что он был на несколько лет, на почти четыре года моложе меня, другими словами, он вполне мог быть жив сейчас. Однако, как я написал в одном месте, боги забрали его в 55 лет, то есть его следующая дата уже должна была быть и будет, я в этом почти уверен, столетие, когда легкий первый воздух вечности овевает имя ушедшего человека. А что касается Ахматовой, она прожила жизнь не сполovиненную, а, будем считать, полную, хотя могла и бóльшую: она была создана для более долгой жизни. Обстоятельства, выше всякой меры обрушившиеся на ее дни, болезни не дали ей прожить даже 77 лет. Ее день рождения мы приходим праздновать. По ее приглашению я присутствовал на – не со стопроцентной ответственностью говорю, но – по-моему, на пяти днях ее рождения. С нею присутствующей. И сейчас на десяти уже без нее. Какая разница между теми и этими? Ничего, что то, что я скажу,

будет разочаровывающим? Потому что я произнесу тавтологию, дурное тождество по виду. Разница в том, что те дни рождения были с ней, а эти без нее. Но потерпите несколько секунд, не дуйтесь на то, что вас водят за нос. *Что* я хочу сказать, *что* вкладываю, *какое содержание* в это банальное заявление? У нее есть такое трехстишие в «Поэме без героя»:

Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира:
На пороге стоит судьба…

Она этим сказала, что древнее античное понятие судьбы, которое приходит к человеку, ждет его, устраивает его биографию, приводит его к концу, – что лира, способная воспеть *это*, будет ей нужна, потому что она прожила *такую* жизнь. Жизнь не только современной женщины, но и античной героини.

В этом трехстишии главное слово – «на пороге стоит судьба». Я имею в виду, что, когда я приходил на день рождения к ней живой, или вообще приходил по складывавшимся условиям – переводили что-то, или что-то надо было редактировать, или просто поговорить, – она *выходила*. Это была Анна Андреевна Ахматова – старая, грузная, седая женщина, медленно ходившая, а вместе с тем, время позаботилось высечь в ее внешности черты вот этой античной судьбы, древней античной судьбы, Ананке. Это *она* выходила. «На пороге стоит судьба» – для меня эта строчка буквальна: вон то крыльцо. Даже есть фотография такая, где я стою внизу, разговариваю с ней, а она смотрит на меня сверху, и это лицо у нее уже не ее индивидуальное только, а лицо античной судьбы.

Ахматова – современница своих ровесников, которые были фантастически одаренными поэтами, и у каждого из них легко найти строчку, строфу, стихи, несколько стихотворений, предъявляющих репрезентативно их гениальность. У этих Мандельштама, у Цветаевой, у Пастернака, у Маяковского, у Ходасевича. А что-то такое ослепительное найти у нее очень трудно, потому что она на вид говорит вроде того, как люди говорят, как мы с вами. Это не то, про что три года назад в записи говорил здесь Бродский, хотя кажется близким по теме. Для меня, сколько я над этим ни бился, никак я не натыкался на стих, помеченный исключительностью. А потом вспомнил, у нее есть не очень известное стихотворение 16-го года, которое начинается: «По неделе ни слова ни с кем не скажу». А кончается так (простите, что пересказываю затрапезной прозой): там появляется незнакомый человек и спрашивает ее: «Ты не та ли, кого я

повсюду ищу?» «Я чужому ответила: «Нет!»» – говорит она. И тогда он называет четыре приметы страны, «Где мы встретиться снова должны: / Море, круглая бухта, высокий маяк, / А всего непременней – полынь… / И как жизнь началась, пусть и кончится так. / Я сказала, что знаю: аминь!». Это настолько слова привычные, настолько не останавливающие на себе внимание, что довольно трудно увидеть неуместность слова «аминь» в этом тексте. Меня будут разубеждать, да я и сам могу доказывать, что нет, нет, вполне уместно. Но на самом деле оно появляется откуда-то ниоткуда, это слово.

Или вот мы сейчас здесь, в пору цветения шиповника. У Пруста есть невероятно знаменитые две или три страницы о боярышнике, о цветении боярышника, которые он сводит к образу девушки-католички, нарядившейся к церковному празднику: по-французски этот куст называется «aubepine», куст зари, русское же свое имя получил от прелестной барышни-боярышни, совпадение понятно, легко объяснимо. Но Ахматова написала: «шиповник так благоухал, что даже превратился в слово». Я не сопоставляю эти строчки с прустовскими – разный подход, можно сказать, разный жанр. Но это ведь очень редкие слова, это слова одной из первых глав Книги Бытия, когда Бог называет первые четыре стихии. Называет Он, а потом говорит человеку: «А дальше называй ты, как назовешь, так и останется». Время, когда человек называл одним словом, прошло давным-давно, новое слово стало зависеть от уже существующих. Поэтому Пруст и тратит на «боярышник» несколько страниц. И вот ахматовский шиповник сам, помимо человека, себя именует. Он «так благоухал, что даже превратился в слово». И, несмотря на мощь этого высказывания, следуют еще две строчки, тоже совершенно ошеломляющей мощи, а именно: «Шиповник так благоухал, / Что даже превратился в слово, / И встретить я была готова / Моей судьбы девятый вал».

У Ахматовой есть четверостишие памяти Блока: «Не странно ли, что знали мы его? / Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева, / И Пресвятая охраняла Дева / Прекрасного поэта своего». С того времени, как первый раз прочел это четверостишие – а я тогда уже вошел в ее стихи поглубже, – и в особенности с тех пор, как не только стихи, но узнал и лично Ахматову, я испытываю желание обратить ее слова о Блоке к ней самой. Что-то сохраняло человека, перенесшего судьбу, почти невыносимую. Подумайте, что при том, что она перенесла, она никогда не подавала себя как мученицу. Этого совершенно не было в заводе. Мы могли поражаться тому, что мы видим живую Ахматову, ту самую, у которой расстреляли первого мужа, погиб в лагере последний

муж, которую вся страна, как она говорила, от Либавы до Владивостока поносила, как монахиню-блудницу. При виде которой люди переходили с одной стороны улицы на другую, чтобы с ней не поздороваться. Но она вовсе не жаловалась и не подавала себя как жертву. И посмертная ее судьба, уже сопровождающая наши встречи здесь, так же недоброжелательна по отношению к ней.

Знаете, я скажу одну вещь, которую мне жена сказала не говорить, потому что зачем против себя раздражение возбуждать. Дело в том, что есть такая поговорка: «Дьявол – обезьяна Бога». Всякий музей человека – это обезьяна этого человека. Он вроде бы и похож на этого человека, и не несет никаких его черт. Никакого этого человека-огня. Нету этого вовсе. А вот в наших встречах здесь, абсолютно неформальных, возможно, и дрожит ультраотзвук уникальности Ахматовой, как неизвестно откуда явившегося нам существа. Здесь присутствуют и молодые люди, и главное, что дети, – вот они, я допускаю такое, когда-нибудь об этом вспомнят и скажут: мы сидели под этими соснами, мы слушали там такие-то ее стихи или по ее поводу прочитанные стихи.

Я не удержусь вспомнить несколько эпизодов коротких из наших собраний. Первый раз это было – мы приехали сюда, я бы так сказал, «вас было мало и нас было мало». Шел дождь. Я какое-то обычное вступление сделал, а потом говорил Аксенов. Он говорил, что впервые видел ее, когда приехал ко мне сюда, и здесь горел костер, и плясали цыгане. Я это слышал уже в третий раз. Когда был в Америке и там читал две лекции у него в университете, он там тоже это сказал, оба раза. Во второй я просто сказал ему, что ты выдумываешь. Тем и кончилось. В Комарове я решил на это не реагировать, но тут как-то слишком это выглядело бы вызывающе, и я сказал ему, пока рассаживались: «Только без цыган. Какие цыгане?» Он сказал: «А жена Баталова?» И действительно жена Баталова, она была цыганка, она была танцовщица, и она, естественно, не танцевала, а так все смотрела отрешенно, неподвижно в огонь, но так оно трансформировалось в его голове. Но на этот раз он не сказал, что кто-то танцевал.

Некоторые сделали из таких безобидных шуточных упоминаний об Ахматовой умозаключения, оправдывающие их неприязнь к ней, неприятие, разоблачение, обличение, сделали на этом даже некоторую карьеру. К примеру, такой американский советского происхождения профессор из университета Калифорнии, он всю жизнь обличает Ахматову. Каким образом обличает? Он ее вставляет, фигуру Ахматовой, в координаты

обычного буржуазного американского общества, и там ее некоторые поступки начинают выглядеть как выходки, а некоторые заявления как вымысел. «Люди переходили улицу, чтобы не поздороваться». Мало ли почему переходят. Зачем выдумывать? И где это у нас в Соединенных Штатах переходят улицу? (А у них действительно крайне редко переходят. А у нас очень часто.) Очень просто сделать такую перестановку, подстановку, после которой Ахматова уже и не Ахматова.

Короче говоря, я не просто привык за свою длинноватую жизнь, что у меня была такая молодость, – я верен ей. Чту то, как Ахматова сказала: «На пороге стоит судьба». А что о ней сказали? О ней, я думаю, лучше всех сказал Бродский – очень простую вещь: «Опирая на ладонь свою висок, / Вы напишите о нас наискосок». Эту песню мы сегодня услышим, положенную на музыку. Я нежно люблю эти слова – «Вы напишите о нас наискосок». И его рассказ, здесь миллион раз повторенный, как мы с ним ехали на электричке в такой же, как сегодня, день ее поздравить, знаю наизусть. И все это вижу с необычайной ясностью. Но при этом в глубине памяти все равно есть легкое недоверие. Потому что неужели так было? Именно из-за ясности картины недоверие.

Я сказал про детей, на которых я, как и все, рассчитываю – очень часто совершенно напрасно рассчитываю, и мы все совершенно напрасно рассчитываем, – я подумал, что, возможно, они когда-нибудь спросят себя: неужели здесь говорилось об Ахматовой. А не о том, как Бельгия сегодня какую-то собственность российскую забрала, или отдала, или еще что-то в этом роде. Нас заставляют говорить о том, о чем кто-то хочет, чтобы мы говорили. Об Украине. Я подумал, едучи сюда, что мне никогда в голову не приходило, что я разговаривал, между прочим, с украинкой. Ее девичья фамилия Горенко. И сегодня, когда в очень коротком и ясном вступительном слове представитель администрации, я не запомнил фамилию, к сожалению, сказал, что Пушкин, Гоголь и Ахматова – лица Года русской литературы, я подумал: так, два представителя Украины и один представитель Африки. Это не должно в голову нормальному человеку приходить. Это нас заставляют. И поэзия – высший уровень языка, высший уровень, на который когда-либо поднимается язык, он заставляет нас от этого освобождаться, излечиваться.

Как говорила Ахматова, когда мы ездили с ней по Ленинграду – вызывали такси и в какую-то прогулку отправлялись – и она начинала показывать и рассказывать: «Вот этот дом… А вот здесь я… А вот там…» и так далее… – так вот, я

ловлю себя сейчас на том, вокруг симпатичные люди, мы куда-то едем, я им рта не даю раскрыть, только сам то про одно, то про другое: «О, вот мы куда завернули, смотрите, вот в том доме…» Ахматова в таких случаях говорила: «Останавливайте меня, иначе я становлюсь Мадам «Larousse»». Это французский словарь энциклопедический, «Larousse». Она могла бесконечно сообщать эпизоды или сведения совершенно поразительные. Она была полна всякого рода историй.

Сейчас я прочту малое число стихотворений и, наконец, освобожу сцену для главного события нашего сегодняшнего собрания.

<…>

Где музыка? В гнезде,
упавшем с голой ветки…

«…»

Это только кажется, что мы используем предметы техники, скажем, микрофон – что он усиливает голос. На самом деле они нас главным образом вытесняют. Например, со сцены: я все время спотыкаюсь об этот микрофон.

<…>

Происходит война и кончается. Мир
наступает, но, боже, насколько он хуже
довоенного…

«…»

<…>

Третья симфония, Героическая – сама герой.
Спереди глаз и сзади, нет удержа,
вечно в схватке.

«…»

У Ахматовой была такая почти ровесница, выдающаяся английская писательница, Вирджиния Вулф. Вот такое стихотворение.

<…>

Как в 20-х Кингс-Роуд
перейти б. Переход
за сто лет не закроют.

«…»

Вирджиния Вулф писала прекрасные романы, которые выбивали ее из колеи, она на некоторое время лишалась рассудка и однажды покончила с собой, войдя в реку.

<…>

Роща, речитатив часослова.
Буквы под нотой сойдут за подлесок.

«…»

Вот и хватит, впереди еще порядочная программа. Я еще раз должен буду на минуту появиться. Поэтому – все: я уже постоял тут бесконечно долго. Сейчас предвкушаю то, что нас ждет. Я слышал эту пластинку. Понимаете, достоверность – это сочетание пафоса и домашности. И то, что мы сейчас услышим, это в первую очередь – достоверная, подлинная вещь. Александр Петрович и Игорь, милости прошу. Я сперва сойду, потом вы подниметесь.

(*Историю, с которой непосредственно вслед за этим начал Павел Крючков, мне бы не следовало оставлять в тексте, прекрасно понимаю. Не приводить похвального замечания о себе, по соображениям элементарной деликатности. Но это, в конце концов, вздор, а уж больно милый эпизод с учительницами.*)

Павел Крючков: Не могу не подать реплику, потому что вспомнил это еще до того, как Анатолий Найман стал читать стихи, а когда он просто разговаривал.

Я ехал из Переделкина, где живу, подмосковный поселок, такой известный, литературный, и вошли в вагон две женщины, я

бы сказал, что они учительницы, причем, по-моему, начальных классов, потому что они говорили все время о школьниках, и понятно было, что не о старшеклассниках. Вошли во время спора между собой. Одна другой сказала: «Нет, ты не понимаешь, негде, негде услышать сейчас настоящую русскую литературную речь. Ну, очень большая редкость. Вот ты когда последний раз слышала?»… Вот: мы последний раз слышали ее пятнадцать минут назад.

(*Оценка не заслуженная, хотя прозвучала приятно и поучительно для всех, включая меня.*)

Эта пластинка называется, как я уже сказал, «Приморский сонет». Мы взяли это название у Ахматовой. Оно далось с трудом, надо было перешагнуть через неловкость заимствования, чтобы так назвать пластинку, но в конце концов назвалась она так. Здесь 26 произведений, из которых 20 – песни, а 6 – живые голоса тех, на чьи стихи написаны Александром Жуковым и Игорем Хомичем эти песни. Наверное, в старые времена советские такие вещи называли литературно-музыкальными композициями. Мы не можем назвать жанр этого диска, который мы подарим вам после окончания нашего вечера. Могу только сказать, что в него заложена любовь. Это, если угодно, эмоциональное обозначение жанра. Открывается пластинка моим голосом. Я произношу текст, который сейчас прочитаю, чтобы уже не нужно было ничего объяснять, потому что он, мне кажется, писался аккуратно.

«В последние годы жизни Анны Ахматовой, в ее дружеском круге, появились молодые питерские поэты – Анатолий Найман, Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев и Евгений Рейн. Общение оказалось искренним, взаимообогащающим и равноправным. Сохранились слова Ахматовой о ее новых друзьях, – однажды она назвала их «волшебным хором». Спустя годы эти дружеские отношения породили целую литературу, стали предметом архивных изысканий и даже попали в кинематограф. Сегодня вы услышите песни Александра Жукова, написанные вместе с гитаристом Игорем Хомичем на стихи всех пятерых поэтов. Услышите и авторское чтение, запечатленное в разные годы. Эта необычная композиция – приношение памяти Анны Андреевны Ахматовой, посвящение легендарному хору, и – наша благодарность русской поэзии «настоящего двадцатого века».

Начнем.

Голос Ахматовой читает стихотворение «Творчество»:

1.

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

2.

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Павел Крючков: С радостью приглашаю сюда Александра Жукова и Игоря Хомича.

Александр Жуков:

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертания столицы во мгле.

Сейчас немного гитары настроим, похолодало довольно резко.

Павел Крючков: Я, пока настройка идет, знаете, скажу, мы так и впредь будем себя чувствовать, по-домашнему. Это домашняя встреча. Кому нужно, пусть ищут струну. Когда захотят объявить, на чьи стихи песни, объявят, не захотят – мы сами догадаемся. Понятно, что была Ахматова.

Александр Жуков: Я все-таки два слова хочу сказать, а то мне Игорь не дал, как-то сразу погнал. Добавлю чуточку к уже сказанному. Конечно, мне в этой жизни повезло – просто судьба, – что я встретился с непосредственными участниками того, что происходило здесь, на этом участке. Думаю, если бы этой встречи не случилось, то, наверное, не было бы и песен этих, не было бы такого интереса к тому времени. К тем годам за полвека до нынешних дней, когда четверка (будем звать их «четверка» – вы все уже знаете ее), члены которой любили друг друга, ссорились, творили. Прибились к Анне Андреевне.

Они образовали специфический сгусток молодой творческой энергии, который останется во времени на долгие-долгие годы. В этом одна из идей этого диска. Анна Андреевна сама собой. Но это же событие – потрясающая поэтесса из прошлого века вдруг соединилась с людьми молодыми. И тот эффект, который это дало. И, кстати говоря, спасибо вам, потому что к нашим слетам в продолжение десятилетия мы каждый раз что-то сочиняли на стихи Ахматовой, Бродского, остальных. А потом появилась идея – мы попытались в этом диске соединить их. Судить, получилось или нет, не нам, а тем, кто будет его слушать. Первую песню мы спели, вторая у нас тоже на слова Анны Андреевны, немыслимые стихи, они приводят меня в восхищение.

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

Вот интересный узор для сопоставления. Пушкин – Болдино, Бродский – Норинская. Он вспоминает, что это был один из лучших периодов его жизни, с точки зрения творчества. И для Ахматовой Слепнево, которое она не очень любила, если непредвзято ее воспоминания прочесть, оказалось местом средоточия постоянного творческого заряда. Предыдущая песня как раз слепневская. И еще одна.

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок…

«…»

Еще одна очень известная короткая вещь, мы ее в такой манере сделали.

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Передаю теперь слово Паше Крючкову.

Павел Крючков: Я еще не сошел с ума, чтобы в присутствии Наймана включать аудиозапись его авторского чтения. Уверен,

Анатолий Генрихович извинит меня, что в записи будут звучать голоса только Бродского, Бобышева и Рейна. Стихотворение Бродского записано в Москве, когда ему 26 лет. Это его молодой голос.

Голос Бродского читает:

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит, выдает
девицу за лесничего и, в шутку,
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

И сразу к этому маленькое стихотворение Евгения Рейна из книжки 1995 года «Сапожок». Оно называется «Голос», и оно как раз посвящено Бродскому.

Голос Рейна читает:

Голос

Издали, из двадцатипятилетней воронки
Голуби, горлицы, жаворонки…
В сумрачном зале под Тинторетто,
Словно бы облик сошедший с портрета,
Ключик скрипичный с нотной линейки,
Поезд с развинченной узкоколейки,
Ангел чугунный с палаццо зимы,
Раны отдельно от пальцев Фомы.
Он долетел до меня из растрещины
Смутного времени, словно от женщины —
Дети и свет – от прожектора в море,

Пасти тоннеля, свечи в коридоре.
Голос почти монотонный, но он
Больше раската и ярче, чем сон.

В течение 10 лет, с 71-го по 81-й, поэт Дмитрий Бобышев писал цикл «Русские терцины», и вот одна из них вошла в его чтении в пластинку «Приморский сонет».

Голос Бобышева читает:

Да все – изгнанники, еще с Адама…
Кто Рай покинул, кто изжил Содом
в сознании. А мы так и подавно —

где нам похлебка варится, там – дом.
И все-таки живем и не плошаем,
и думается крепче о родном,

но не одним, как прежде, полушарьем.
Два опыта сомкнулись в полноте.
И, кажется, слова сейчас нашарим

вернейшие, насущнейшие, те…

Александр Жуков (поет):

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

Павел Крючков: Это на стихи Иосифа Бродского.

Александр Жуков: Да, это Бродский. О его отношении к вере

не получится сказать однозначно. Но что много лет он под Рождество писал рождественские стихи, есть неотменимый факт. Это одно из них.

Вот еще одно стихотворение, вернее песня, на стихи Бродского.

Черный конь

В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.

Не помню я чернее ничего.
Как уголь были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди,
как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно.
Я думаю, внутри у нас черно.

Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его зияли, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.

Как будто был он чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал?
Зачем во тьме он сучьями шуршал?

Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе средь нас.

Кстати, хотелось бы получить убедительное разъяснение, почему каждое поколение сочиняет нечто про «черного человека».

А вот удивительное стихотворение Анатолия Генриховича Наймана. И не то чтобы длинное, а двадцатый век как перед глазами. Немножко другой гармонии.

Ни гайдновских, ни Моцарта гармоний,
когда с маршрута снят и не звенит трамвай,
сегодня не придумать монотонней.
Нам Брамса, Стра и Шости подавай

как минимум! А то монаха Пярта,
а то и кашель с мест между долями Гу —
байдулиной – скрежещущую кварту
дыханья над могильным ни гу-гу.

Не выдох слаб – запал в гортани клапан.
До крови губы к мундштуку впритык.
Лохматы волосы смычка. Залапан
мазутной пятерней тромбоновый кадык.

Сел голос, и не стать ему вчерашним.
Ну что ж, раз так, и ты зурну, абрек,
вскинь, как обрез. А ведь каким домашним
был, даже озверев, двадцатый полувек.

Полудвадцатый век – трамваев полутрезвых,
не вправивших суставный сгиб и свих
бульварных рельс. Из-за чего в оркестрах
истаял струнных крик и смерзся духовых.

Павел Крючков: Слушая сейчас эту одну из самых трудных песен на стихи современного поэта, я вспомнил, что, когда она была написана, я спросил у Жукова – это такая домашняя история: «А как ты мог решиться на такое стихотворение написать песню? Это же надо услышать строчку «нам Брамса, Стра и Шости подавай»». Он говорит: «Но я люблю эти стихи».

Александр Жуков: А в самом деле, каждый раз, когда читаешь

вслух, повторяешь, это совершенно по-другому, увлекающе звучит.

Павел Крючков: Для человека моего поколения узнать, что «Шости» – это Шостакович, тоже в некотором роде опыт.

Анатолий Найман: Дело в том, что в каком-то 46 – 47-м году, не знаю точно, был такой случай, что сотрудница Советского посольства в Вашингтоне по фамилии, если я правильно помню, Копенкина, учительница младших классов посольской школы, выбросилась из окна. На брезент, который успели растянуть пожарные. Был очень большой политический скандал, наши не хотели оставлять ее в руках у американцев, американцы были в сомнении, забирать ли. И в это время прилетел самолет из России с делегацией: Фадеев, Шостакович, Симонов и забыл четвертого. Этот самолет встречала на аэродроме группа протестующих американских демонстрантов с плакатами, и на них было написано: «Шости! прыгай в окно!»

Александр Жуков: Так. Ну что, поехали дальше? «Рыбак», замечательное стихотворение Анны Андреевны, очень я его люблю. Мы его здесь не один раз пели. Крым, Херсонес, не до конца угадываемая влюбленность.

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.

«…»

Павел Крючков: Должен вам сказать, что часть тиража мы получили только вчера, впритык к сегодняшней встрече. А когда пластинка делалась и еще не была готова, была готова лишь звуковая часть, матрица, не доведено было до конца оформление. А вы увидите, туда и книжка вложена с этими текстами, и все, что полагается. И уже на том этапе мы начали обсуждать сегодняшнюю встречу. Что будут петь Жуков и Хомич, обсуждали мы, и часть того, что обдумывали тогда, сейчас вам покажем. У нас не было твердого понимания, что́ может из этого выйти, но все-таки попробуем сейчас.

То есть они сделают, я-то говорун. Суть вот в чем. Что такое песня на стихи поэта? Ну, если так совсем кратко, это его, то есть Жукова и Хомича музыкальное прочтение этого текста – или

вообще прочтение этого текста? Можно спросить: а в какой степени это интерпретация этого текста? Или, например, а зачем нужна музыка, когда в стихотворении уже есть музыка? То есть можно целое исследование подвести под это. Ну, поскольку уже было сказано, какую роль играет любовь к тому или иному тексту, и что предпочтение при выборе стихотворения и желание найти для него музыкальное сопровождение бывает отдано внутренней склонности к конкретным словам, то какая-либо дискуссия по этому поводу отрезается. Но, возможно, нам удастся что-то на этот счет почувствовать опытным путем.

Евгений Рейн не участвовал в наших собраниях, но сегодня здесь присутствует своим голосом. Сейчас мы услышим, как он читает, на мой вкус, и не только на мой, одно из лучших своих стихотворений, которое называется «В старом зале». Оно относительно длинное, вообще мы стараемся включать записи не больше, чем минуту-полторы. Это длится больше двух. Мы его прослушаем, а сразу, как оно кончится, я попрошу Жукова и Хомича его спеть. Тем более что оно входит в эту пластинку. Услышим автора – и после этого «прочтение» этого стихотворения теми, кто воспринял его как песню. Рейн читает громко, бурно, поэтому, Данила, очень громко включать не надо.

Голос Рейна читает:

В старом зале, в старом зале,
Над Михайловской и Невским…

«…»

Жуков и Хомич исполняют песню в сопровождении гитар.

Павел Крючков: Мы перевалили через середину нашей песенной экспедиции. Воспользуюсь краткой передышкой и спрошу Александра Петровича. Вопрос: «Скажи, пожалуйста, как ты для себя это решал? Что это? Интерпретация, прочтение, признание в любви?» В пластинке есть его послание, но я читать его не буду.

Александр Жуков: Будем так говорить, что вся четверка притягательна. Анна Андреевна, понятно, стоит особняком, но все эти десять лет ощущалась в их окружении. Я стал попристальней вглядываться в их стихи, и какие-то сразу в музыку

соскальзывали. Я их просто брал, а замечательных стихов у «четверки» большинство. Где я музыки не чувствую, те я, естественно, не беру. Где чувствуешь, сразу начинаешь по чуть-чуть наигрывать, пробовать. Такой критерий.

Ну, вот Дима Бобышев. Это стихотворение, такое чудное. «Сороковины».

В ночь сороковую был он, быстрый,
Здесь, – новопреставленный певун…

«…»

Так. Анатолий Найман. Короткое стихотворение, но очень емкое. Я сказал бы, оптимистичное, несмотря на то содержание безжалостное.

Красота – была, красота – была.
Красота в переводе на мой…

«…»

Теперь Анны Андреевны стихотворение. Все знают, что такое бессонница. Я от многих слышал слова признательности, что Ахматова потрясающе совершенно все это передала. Я из их числа, кстати говоря.

Где-то кошки жалобно мяукают,
Звук шагов я издали ловлю…

«…»

Павел Крючков: Мы уже движемся к финалу и сейчас послушаем еще три архивные звукозаписи авторского чтения Бродского, Бобышева и Рейна. Это стихотворение, которое сейчас прочтет Бобышев, из цикла «Траурные октавы», который у него сложился через год после смерти Ахматовой. Именно в этом стихотворении прозвучало словосочетание, попавшее потом в литературу, и ставшее мифом в классическом смысле слова, – словосочетание «ахматовские сироты».

Голос Бобышева читает:

Все четверо

Закрыв глаза, я выпил первым яд,
и, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела; в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Павел Крючков: В 65-м году Рейн посвятил Ахматовой стихотворение.

Голос Рейна читает:

А.А. Ахматовой

У зимней тьмы печалей полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет —
Метеорит, ракета, астероид.
Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний,
Еще недавно полный беленой.
Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

И последняя запись – Бродский. Одно из самых последних его стихотворений, написанное за полтора года до смерти. Я взял эту запись из архива радио «Свобода», как только пришло сообщение о смерти Бродского. Поэтому не удивитесь скрипичной музыке, на фоне которой звучат стихи. Ими заканчивается его книга «Пейзаж с наводнением», последняя, в составлении которой он принимал участие.

Голос Бродского читает:

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба
и прятаться в облако, слыша гром,
не видя, как войско под натиском ширпотреба
бежит, преследуемо пером.

Когда вокруг больше нету того, что было,
не важно, берут вас в кольцо или это – блиц.
Так школьник, увидев однажды во сне чернила,
готов к умноженью лучше иных таблиц.

И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.

Александр Жуков: А у нас опять Слепнево.

Здесь все то же, то же, что и прежде,
Здесь напрасным кажется мечтать.

«…»

Да. Такой вот «темно-синий шелковый шнурок». Ну, и песню на стихи Бродского, которую любит Анатолий Генрихович.

Закричат и захлопочут петухи,
Загрохочут по проспекту сапоги…

«…»

Павел Крючков. Последние архивные записи, что мы услышим, будут ахматовские. Эти стихи написаны здесь, в Комарове, в 59-м году. Они написаны одно за другим, между ними 12 дней. Первое – «Поэт» 11 июля, а следующее «Читатель» 23-го. Входят в ее цикл «Тайны ремесла».

Голос Ахматовой читает:

Поэт

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.
И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо.
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой
И все – у ночной тишины.
Читатель
Не должен быть очень несчастным,
И главное скрытным. О, нет!

«…»

Павел Крючков: Анатолий Найман, пожалуйста.

Анатолий Найман: У Бродского было очень популярное стихотворение, 65-го года, «Два часа в резервуаре», и в нем такая строчка: «Их либе ясность. Я. Их либе точность». Я люблю точность тоже. А эти разговоры: «волшебный хор, волшебный хор» – я не очень люблю. Как-то, знаете, не по чину. Выслушивать «волшебный хор» – и раскланиваться. Я не научился. Тем более от кого эти слова пошли, знаю нетвердо.

А вот что Ахматова называла нас «аввакумовцы», это действительно было. Один раз, по крайней мере, при мне назвала. Мне этого было достаточно, чтобы запомнить. То есть такие молодые люди, которые не шли ни на какие соглашения, которые были бы им не по вкусу или не по совести. Так что я предпочитаю не «ахматовские сироты», не «волшебный хор», а

«аввакумовцы». Это первое.

Второе. Мне, конечно, повезло, что у меня сложились дружеские отношения с ученым-геофизиком. Главным образом потому, что у кого в слове, обозначающем профессию, корень – «гео», те рано или поздно берут гитару в руки и оказываются поэтами, музыкантами, композиторами. Но я возражаю, чтобы замечательного – в течение десяти лет его слушаю – Игоря Хомича называть гитаристом. Гитарист – хорошо, когда ты уже Джанго Рейнхардт. Игорь – классный гитарист плюс прекрасный музыкант. Это я вам, Игорь, кланяюсь.

И прочту два давних стихотворения. Одно написано сразу после смерти Ахматовой.

Кончается лето,
и вряд ли оно повторится,
и как говорится,
друзья, наша песенка спета:
забыты признанья,
и слезы, и трепет, и клятвы,
прошла уж пора созреванья,
и яростной жатвы,
и двух сенокосов…
И только за дымкой полдневной
стоят Женя, Дима, Иосиф
пред Анной Андревной.

И тогда уже, «заодно», как говорят в одном, любимом мною анекдоте, чтобы второй раз не вставать, я хочу попрощаться не только с Анной Андреевной Ахматовой, которая в этом доме жила и которая называла его «архитектурной виртуозностью», потому что здесь на какой ни есть, но все-таки площади архитектор умудрился разместить одну-единственную маленькую жилую комнату, а остальное все переходы, коридоры, веранды, террасы. Как говорится, «каково же было мое», когда Жуков сказал – мы тогда еще были в очень церемонных отношениях, мы и сейчас достаточно церемонны, но тогда были в еще более – сказал: «Вы не могли бы приехать и посмотреть, насколько это похоже на то, что было при Ахматовой?» Мы приехали, это было так, как в самом начале моего здесь рассказа о событиях, случившихся десять лет назад: *это было очень похоже*.

Александр Жуков: Немножко уточню. Основная задача была определить, какие обои были. Когда мы сделали срез, там было штук 15 слоев, и это было совершенно непонятно. Невозможно

было понять.

Анатолий Найман: Не преувеличивайте. Короче, мы нашли те самые обои. Оказалось, уже две семьи тут живут… И перед тем, как прочесть последнее стихотворение, обращенное к Ахматовой еще при ее жизни, в 63-м или 4-м году, то есть Бог знает когда, я хочу попрощаться не только с этим местом и этим домом, а и с соседями Анны Андреевны. С Александром Гитовичем и Сильвой Гитович, с Анатолием Клещенко, который жил вон в том доме, с Глебом Пагиревым, поэтом. Со Львом Евгеньевичем Аренсом и с Саррой Иосифовной Аренс, которые ухаживали за Анной Андреевной. С Фаиной Георгиевной Раневской, которая, когда одно лето жила здесь в Доме актера, через день приходила к Анне Андреевне. И это были совершенно фантастические часы, когда они с Ахматовой, которая начисто была лишена актерского дара, разыгрывали передо мной сцены, в которых Раневская была великая актриса, а Ахматова ей подыгрывала. Редкий, согласитесь, случай, редчайший, я-то уверен, единственный. Разыгрывали, как Мартынов пенял Лермонтову (Раневская играла Лермонтова): «Ты говорил за мою сестру, что она (следовало непечатное слово)?» Попрощаться с Раневской. С Леной Шварц, которая тогда здесь не жила, но которую мы здесь застали перед ее смертью, и это была такая трогательная встреча. Как с редкой, из последних представительниц вымирающей породы птиц. С Глебом Яковлевичем Горбовским, с которым после полувекового перерыва тоже здесь, на этом участке, пересекся.

Всем им огромная моя благодарность, как говорят, зе́мный поклон. Вам – всего доброго. А прочту я стишок 64-го года, посвященный Ахматовой, из которого она взяла последнюю строчку на эпиграф к стихотворению, которое адресовала мне. Что я воспринял, конечно, как ни с каким другим не сравнимый подарок. И вместе с тем: а что, раз так было, значит, так бывает. Читаю.

Анне Ахматовой

Я прощаюсь с этим временем навек,
и на прежнее нисколько не похоже,
повторяется вдали одно и то же —
белый снег вдали летает, белый снег.
Я прощаюсь с этим временем, и вот
Ваше имя, названное глухо,
больше годное для вздоха, не для слуха,
речкой дымною затянуто под лед.

Еще вздрогнет комаровская сосна,
и мелькнет ослепший призрак Ленинграда,
и меж листьев Александровского сада
еще вспыхнет темно-красная стена.
Но по-новому во время этих встреч
Вы кивнете величавой головою,
и по-новому задышит над Москвою
Ваша горькая божественная речь.

Александр Жуков (*поет*):

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни…

«…»

Спасибо вам за ваше участие в наших вечерах, за вашу настроенность и поддержку.

Послесловие

В 2000-х, когда вся эта история, начавшаяся и развернувшаяся из конкретного желания выразить чувство признательности Анне Ахматовой на месте, хранящем непосредственные проявления памяти о ее когдатошнем присутствии, – в здешнем воздухе уже не было скорбно-тревожной струйки, неотъемлемой от Комарова в 50-е – 60-е годы. Карельский перешеек уже лишился отпечатка своей давней, окончившейся лишь со Второй мировой войной принадлежности Финляндии. В 2000-х мы являлись сюда запросто, вели себя как на пикнике, рассаживались у ахматовского дома свободно. Но в конце 1950-х, когда я приезжал сюда на взморье, бродил, собирая грибы и чернику, по лесу, ходил на Щучье озеро и реку Сестру, и в начале 1960-х, когда начал посещать Будку по приглашению, этот мотив – ощущения себя на чужой территории, смирившейся, но не дружественной – давал о себе знать постоянно. В этом смысле сознание себя «непрошеной гостьей» не оставляло Ахматову никогда. И отбрасывало отсвет ее и близких ей по духу людей отношения – на Комарово в целом.

Ты опять со мной, подруга осень!

Ин. Анненский

Пусть кто-то еще отдыхает на юге
И нежится в райском саду.
Здесь северно очень – и осень в подруги
Я выбрала в этом году.

Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла,
И, кажется, тайно глядится Суоми
В пустые свои зеркала.

Иду между черных приземистых елок,
Там вереск на ветер похож,
И светится месяца тусклый осколок,
Как финский зазубренный нож.

Сюда принесла я блаженную память
Последней невстречи с тобой —

Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.

Пустые зеркала – одновременно и принадлежность домов, лишившихся своих исконных хозяев, и тысячи озер на отошедшей к СССР территории, бывшем юге Финляндии. А вот:

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несоленая вода.
На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.
А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

Не только комаровский пейзаж, но и образ символизма (текст, насыщенный «арматурой» символистского толка) в противовес акмеизму в стихотворении «Родная земля».

Эти мысли сопровождали меня во время всех разговоров о новых, украшающих это место талантливых хозяевах, о нынешних «комаровцах», о нашем с ними заединстве. Тем более что с того, полувековой давности, времени меня настигали слова совсем другой, сугубо частной, интимной направленности, из закутка, в самом деле тогда обжитого тут близким мне человеком и его подругой, – из стихотворения Бродского «Келломяки»:

Необязательно помнить, как звали тебя, меня;
тебе достаточно блузки и мне – ремня,
чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),
что безымянность нам в самый раз, к лицу,
как в итоге всему живому, с лица земли
стираемому беззвучным всех клеток «пли».

Комаровское кладбище, аллея к могиле Ахматовой

Келломяки по-фински значит Колокольная горка, это прежнее название Комарова. Колокол, в реальности уже не существующий, звонит по кому-то, чье тело отказывается бороться за следующий миг жизни. Это ждет и в конце концов поражает каждого. Все клетки неслышимо командуют себе «пли» и одномоментным, столь же беззвучным выстрелом стирают живущего с лица земли. В нашем случае – героя стихов, как и конкретный, топтавший эту хвою его прообраз; с ними исчезает из поля зрения и героиня. Кто остался – какое-то время помнят их имена.

После вечера на берегу Финского залива

То, чего коснулось слово поэта, несет на себе отметину этого прикосновения. Я распространяю исключительность творческих качеств тех, кто воспел этот, как сказала бы Ахматова, населенный пункт, на саму его землю, воду, деревья. Он уступает Царскому Селу, но все равно «там, меж стволов, еще светлее и так похоже на аллею у царскосельского пруда».

Март 2018

Иллюстрации

Выступает Василий Аксенов,
Комарово, июнь 2006 года

Юрий Кублановский, Ирина Сурат, Василий Аксенов, Наталья Поленова на первом праздновании дня рождения Ахматовой в Комарове в 2006 году

Юлий Ким и Александр Городницкий в купе поезда из Москвы в СПб, июнь 2007

Выступает Юлий Ким

Выступает Александр Городницкий.
Гитара – Игорь Хомич

Выступает Андрей Битов

Белла Ахмадулина читает стихи

Белла Ахмадулина, Александр Рубашкин, Ваня Галикеев, Борис Мессерер, Вера Жукова, 2008 год

И. Алексеева и А. Городницкий

Александр Жуков

Публика

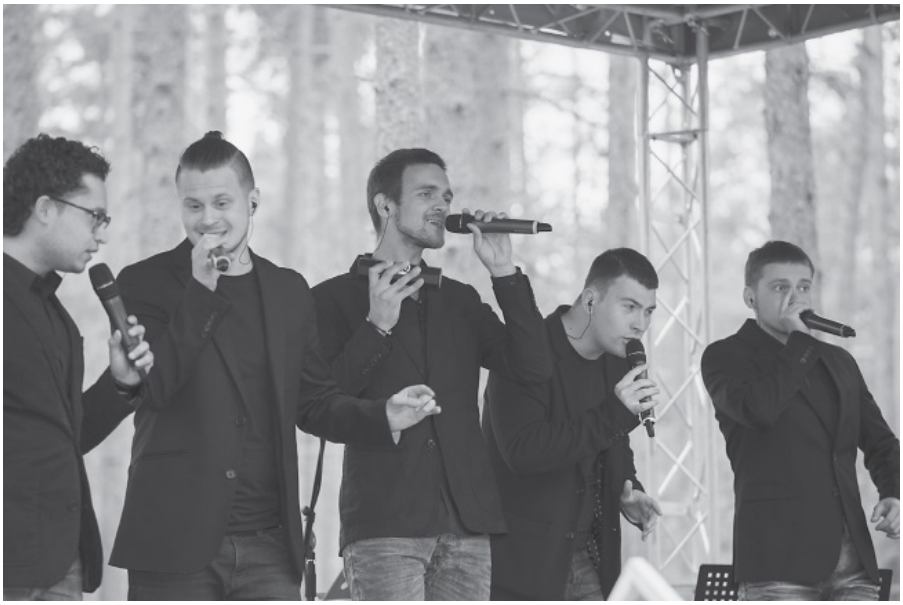
Публика, слушающая из-за забора

Публика под дождем

Игорь Хомич и Александр Жуков

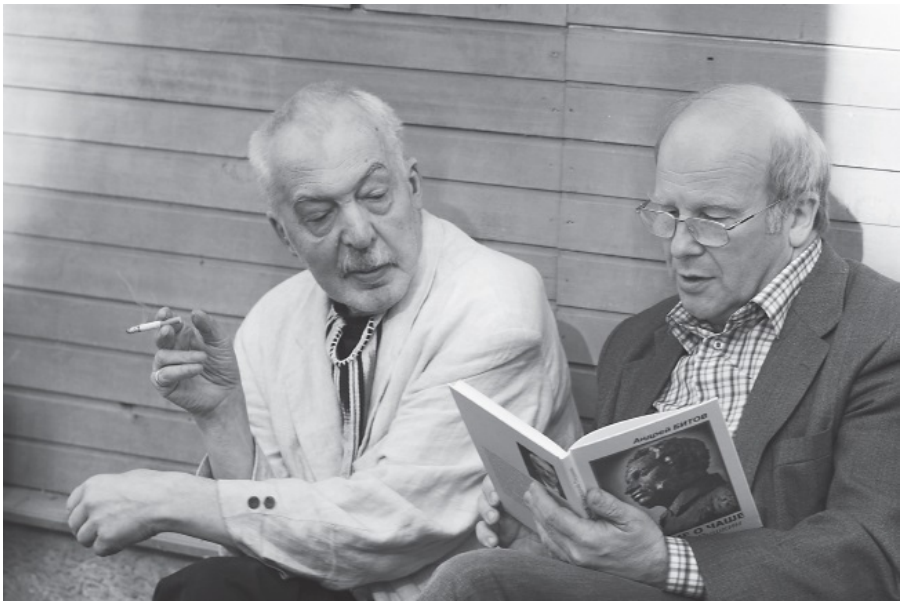
Анатолий Найман у микрофона

Вокальный ансамбль «Dedooks», смешанный состав



Вокальный ансамбль «Dedooks», мужской состав

Татьяна Антоновская исполняет любимую арию Ахматовой из оперы Перселла «Дидона и Эней»



Андрей Битов и Сергей Некрасов, директор музея-усадьбы Державина

Павел Крючков

Поэт Виталий Дмитриев

Вениамин Смехов с женой Галиной

Слушатели

Пара слушателей

Сергей Юрский, 2014 год

В Царском Селе на следующий день после первого празднования дня рождения Ахматовой в Комарове в 2006 году. Слева направо: Игорь Хомич, Анатолий Найман, Василий Аксенов, Александр Жуков, Вера Жукова

Металлический обруч от гамака, поднявшийся вместе со стволом и намного переживший хозяйку